



Вардван Варжапетян

ПАЗЛ-МАЗА

Записки гроссмейстера

Роман

**Вардван
Варткесович
Варжапетян**

**Пазл-мазл. Записки
гроссмейстера**

*Неподдельны те слезы,
которые вы сейчас увидите,
и злобы жестокой деяния,
и страдания наши...*

Р. Леонкавалло. Паяцы

У трех народов я в долгу – русских, армян, евреев.

Моя мама Анастасия Хохлова из рязанской деревни Медвино дала мне жизнь и родную речь – русский язык.

Отец, армянин из древнейшего города Ван, пережил геноцид 1915 года. Он дал мне имя и фамилию.

Еврейка родила мне сына. И вторая моя жена – еврейка. Без нее не родилась бы эта книга.

А я родился 21 сентября 1941 года в эвакуации, в Уфе. Живу в Москве.

Выпустил больше двадцати книг; их герои – Овидий, Ли Бо, Омар Хайям, Франсуа Вийон, Афанасий Никитин, доктор Ф. П. Гааз. Сделал новый перевод Торы (Пятикнижия Моисея). Основал армяно-еврейский журнал «Ной» (1992 – 1995). Издал книгу «Число бездны» (1998). «Пазл-мазл» можно считать продолжением «Числа бездны».

Член Союза писателей СССР, член Русского ПЕН-центра. В писатели меня рекомендовали фронтовики – Борис Васильев и Булат Окуджава, и узник гетто Саша Гельман.

Маргарите Хемлин

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Не думал, что, для того чтобы поверить в Бога, надо убить человека. Но со мной, Вениамином Яковлевичем Балабаном, случилось так. Хотя ради объективности надо принять к сведению, что сначала это меня хотели убить. За что? Больше всего убивают людей как раз ни за что.

Меня не просто хотели убить. Меня планировали, на картах вычерчивали, на секретных совещаниях за стальными дверями готовились убить. И пришли по мою, Балабана, душу. Кто именно? Гитлер.

*22 июня,
ровно в четыре часа,
Киев бомбили,
нам объявили,
что началась война.*

Не знаю, кто засек точное время. Вероятно, компетентные органы. Мало ли где что бомбят... Могли происходить маневры, ошибка бомбометания, взлетел склад боеприпасов – диверсия, вредительство, часовой заснул на посту, а окурок не погасил. Так что спите спокойно, «граждане и гражданки» (так товарищ Молотов обратился к советскому народу; больше всего меня как раз поразило ударение: гражданки). Но это уже в полдень, а не в четыре утра.

Да еще нервы накрутил Левитан: «Сегодня в двенадцать часов будет передано важное правительственное заявление».

Первым все понял дедушка. Так и сказал:

– Нехама, выключи его. Дай доспать мирную жизнь.

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие».

Что значит «некоторые другие»? Как в таких случаях говорил Рашид Нежметдинов: «Некоторых я знаю. А другие кто?» К слову сказать, он меня чуть не утопил в Волге. Взял и бросил за борт, как Стенька Разин персиянскую княжну. Когда в Чебоксарах устроили турнир на кубок 400-летия добровольного вхождения Чувашии в Россию. Попробуй не войти при Иване Грозном! Слава богу, что турнир устроили не при нем. Но все равно еще при Сталине, в 1951-м. Про что мы спорили, не помню. Багром меня из Волги вытащили. А на Рашида Гибятовича зла не держу, потому что он сделал беспрецедентный дубль – стал в 1950-м чемпионом России и по шашкам, и по шахматам.

Так вот, возвращаясь к «некоторым другим»... Хотелось бы поточнее. В них, между прочим, тоже люди живут или их родственники. Неужели их так много, *некоторых?*

Понимаете, у меня есть одна слабость (о других распространяться пока не буду): люблю точность. Хотя бы приблизительность, а не «и др.», «и т. д.».

Математика – наука не веселая и не скучная. Она точная. Не в смысле: точность – вежливость королей, а в смысле вежливости мироздания, которое устроено точно, надежно и неотменимо. Вечность и есть недостижимая, непостижимая точность. Должно же быть на свете хоть что-то точное. Ведь нельзя прожить всю жизнь приблизительно.

Уж если речь зашла о точности, уточню и жанр моего повествования. Это не роман, не мемуары, не исповедь. Может, путевые заметки? Интересно, что было бы с Торой, если бы Моисей обозначил ее жанр? Она ведь тоже в некотором смысле «путевые заметки» сорокалетнего странствия евреев из Египта до реки Иордан. Но Тора есть Тора. А моя рукопись – просто собрание «сердца горестных замет» (А. Пушкин. Евгений Онегин).

Сразу хочу извиниться: хотя у меня хорошая память, как и должна быть у гротескмейстера, но буду много цитировать по документам, печатным и устным источникам, ведь речь не только обо мне, но о событиях всемирной важности.

После слов *«Победа будет за нами»* дедушка возложил на себя драный талес [Белое, в черных полосах, покрывало, надеваемое евреями во время молитвы.], до которого никто не смел дотрагиваться, и долго молился. Скорее сердито и жалобно кричал Всевышнему, словно Тот оглох и ослеп. Кричал, как пророк Исайя народу, – шепотом пояснила мне бабушка, а одно место даже перевела на ухо: «И придет на тебя бедствие: ты не узнаешь,

откуда оно поднимется, и нападёт на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придёт на тебя пагуба, о которой ты не думаешь».

Одно шипящее слово рассмешило меня, какое-то из детской страшилки: «шоа». Но бабушка сердито ущипнула меня за коленку. «Никогда не повторяй его!»

Лицо деда стало землистым, глаза запали, крупный пот, как воск, застревал в морщинах. От этого пота даже воняло, как от уксуса. Потом собрал всех за столом, кто был в доме: бабушку, маму, папу, нас с Идой, забежавшую на минутку Сусанну Гальперину. Сказал бабушке: «Гис». Это на идише – «Наливай». Она налила вина в серебряную чарку. Достал из-под подушки толстенную книгу (я подумал: молитвенник), велел бабушке читать вслух. Она замечательно читала. И сейчас слышу ее голос.

- Лейб Толстой. Велт унд криг.
- Аид?
- Их вейс?[– Лев Толстой. Мир и война.
- Еврей?
- Я знаю? (*идиш*).]

Об этническом составе и географическом положении наших Чярнух сразу скажу: местечко. Много нищеты, много грязи, много запахов, а больше всего много слов. Райцентр! До Вильнюса, Чернигова, Витебска ехать одинаково. А переходили, как карты в «дурака», то к Польше, то к Литве, то к Украине, то к Белоруссии. Река для всех одна и та же – Глыбень, впадает в Десну, Десна – в Днепр, Днепр – в Черное море.

Местечко – этим все сказано. Исконно-титულიная нация – евреи (*укр. еврѣи, белор. яурэі, польск. жи́ды, нем. jude*). А на Смоленщине называли «ивреи». Это мне рассказал давний знакомец – профессор Красухин, пушкинист. У него там много родни погибло. А он там мальчиком после войны жил в деревне. Наслушался. «Немец нас не трогал. Обложил налогом каждую избу, но все как есть оставил. И корову, у кого была, и кур». – «Да немцы же выслеживали кур и бросались на них, сам видел в кино в деревенском клубе», – возразил Гена. Ему пояснили: «Они не курицу, а ивреев высматривали. Если зайдет иврей к тебе в избу, а ты не скажешь, пропала твоя головушка. А если скажешь – тебе и тушенки дадут, и молока сгущенного, и хлеба. И колбасы в консерве. Я такую колбасу больше никогда не ел. Могли и шнапсу налить». – «А с ивреями что?» – «Которых ловили? Выводили из избы и убивали. Вон, – показывали на овраг, – поставят иврея, стрельнут, он вниз и скатится». – «И много людей убили?» – не унимался Гена. «Которых в избу заходили не так чтоб много. Иврей хитрый. Понял, что в избу заходить не надо, в лесу прятался. Тута его и ловили. А уж если ты его высмотрел да немцу сказал – и колбасы даст тебе, и шнапсу, и много чего еще».

В общем, произносили евреев по-разному, жизнь отнимали по-разному, и только евреи одинаково становились из живых неживыми, превращались в трупы, останки, кожу и кости, прах пепел, дым. Это и есть *триумф воли*. А проще: бей жидов, спасай Германию!

Еще жили белорусы, поляки, украинцы, литовцы, немцы, несколько чехов и цыган, один итальянец. Русских не помню. Они пришли осенью 1939-го все сразу. Как говорится, со своим добром: танками, советской властью, ВКП(б), НКВД, исполкомом, пионерской дружиной.

Все вдруг стали говорить по-русски. На идише, конечно, тоже говорили, но тише и не так громко жестикулируя.

Первые слова я пролепетал на идише. Какие – не помню и спросить не у кого. Самое страшное – когда не у кого спросить.

А знаете, кого Гитлер хотел повесить первым, когда возьмет Москву? Правильно, Левитана.

В человеке ведь самое главное – голос. Не только у теноров, басов, меццо-сопрано. Вот говорят: глаза. А вы еще попробуйте некоторым посмотреть в глаза. Потом, это же надо близко подойти. Хотя как сказать... Приведу пример с моим другом Борисом Шапиро. По образованию физик. Поехал он с женой в Германию. Коллеги решили ему показать живописности Рейна. И вот в одном пейзаже Боря восхитился цветущей яблоней и сломал ветку – жене преподнести. Вдруг видит: кто-то бежит, грозитя, кричит: «Schmutzige judische Schwein!»

Оказалось, земля принадлежит запыхавшемуся господину. Шапиро извинился: глубоко сожалеет о нехорошем поступке и просит извинить – он хотел ветку преподнести жене, ей трудно ходить после операции, но он возместит ущерб...

Достал бумажник. Немец обиженно отказался от денег. Мало того: убежал и прибежал с букетом роз для фрау; он надеется, что даме будет приятен такой знак внимания с его стороны.

Боря поблагодарил и спросил:

– Скажите, а как вы с такого расстояния разглядели, что я *грязная еврейская свинья*?

Немец побелел. Потом стал серым.

– О, у меня даже в мыслях не было, что вы еврей! Я совершенно не имел вас в виду, просто я очень рассердился.

Так что близко-далеко – понятия относительные. Но если б все было относительно, нас с вами просто не было бы на свете. Меня-то уж точно. Однако есть абсолютные понятия и величины. Есть, в конце концов, аксиомы, то есть истины, не требующие доказательств. Одна из них (по крайней мере для меня и еще для 6 258 673 – шести миллионов двухсот пятидесяти восьми тысяч шестисот семидесяти трех убиенных евреев) такова: этот господин с розами для больной жены Бориса Шапиро (герр Мюллер, как он представился), когда ему было двадцать лет, пришел убить Борю (который тогда еще не родился), его родителей, бабушку с дедушкой, всех родственников, даже однофамильцев, вообще всех – д о о д н о г о – евреев.

Ну, к Шапиро, допустим, у Мюллера могли быть претензии: вот родится, вырастет, приедет в Германию, обломает яблоню... Но я-то при чем? Какие ко мне претензии? Тем более у Гитлера.

Психи.

Но мне повезло. Я лицом к лицу встретился с тем, кто пришел убить меня. И он не был похож на психа.

Минутку. Звонят в дверь. Почтальон. Заказное письмо из Хайфы от Эдуарда Дыскина. Зовет в гости. Прислал русскую газету. Фото Эдика и подпись: «Герой-партизан, отец героя Эли Дыскина».

Не знаю, кто в Хайфе знает Эдика, но его сына точно знает весь Израиль. Израильский Маресьев, командир танка. Уничтожил 202 вражеских танка, из них 39 в одном бою. Он живет в Тель-Авиве. Первым делом Элька повез меня в армейский Дом инвалидов. Чего там только нет: медицинские кабинеты всех специалистов, кружки, как в Доме пионеров, спортивные секции, танцевальный зал, спортивный бассейн, тир для слепых, духовой оркестр, джаз, ресторан, куда мы и закатились.

Конечно, я не удержался, спросил его, как он ухитрился подбить столько «арабов»?

– Дядя Веня, я бы и сто сжег. У меня такой экипаж был! – И заплакал. – Такие ребята были!

Я клял себя: дурак, зачем спросил! Два экипажа у него сгорело, он выжил, но на нем живого места нет, на него и мужику-то глядеть страшно.

Батальон, где он служил в войну Судного дня [*Война Судного дня* началась 6 октября 1973 года в Йом-Кипур (Судный день), самый скорбный день для евреев. В тот день Египет напал на Синай, а Сирия – на Голанские высоты.], оборонял Голаны. Там сошлось танков, как на Курской дуге, чуть не две тысячи!

Сидим, пьем лимонную водку, закусываем рыбным ассорти, у каждого полная тарелка силоса, и все речь ведем про войну: как мы с Эдиком партизанили, у нас тоже получилась еврейская война, только не с арабами, а с немцами, полицаями, бандеровцами и всякими лесными батками.

– Элька, папа не рассказывал, почему он ест только мясо и рыбу, а от зелени его тошнит?

Дыскин зверски давит каблуком мой ботинок и кашляет, будто подавился. Весь побагровел. Понимаю. Одно дело: корова щиплет травку, коза, овечка. А когда люди пасутся... С правого фланга у меня Вася Шмуклер, пограничник, два побега из плена, у нас в отряде он разведчик, в роте Идла Куличника. Он ботаником мечтает стать после...

А я? Мечтал о шашках из черного и белого хлеба: взял – съел. А пока рву травку, перетираю зубами. Зубы придерживаю пальцами, чтобы не выпали. Съедобное – несъедобное? Все одно жрешь, рука сама тащит зелень вместе с землей, и не знаешь, от чего скореедохнешь: от поганки, бузины или от голода. «Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле», как пел под гусли царь Давид. Поэтический образ. А тут по земле расползлись не образы – люди. Да какие! Цены им не сложить. Никакую цену за них не назначить. Хотя немцы давали по килограмму соли тому, кто выдаст еврея. И колбасу в консерве. А мы паслись на подножном корму. Кору и траву варили в болотной воде. Без соли, конечно.

С правого фланга, слышу, пасется Ошер Гиндин, громыхает скелетом, как динозавр. Чярнухинский богатырь, грузчик на пристани. При таких габаритах в Красной Армии давали бы ему в обед бачок первого и второго. Но мы не в армии, не на фронте и не в тылу, потому что тыловикам тоже хоть какое довольствие положено. А нам ничего. Лягушек не осталось в болоте, всех поели. Моя Ида жалуется: «Детям нечего считать на уроках».

У нас же своя лесная школа. Даже две: *ешибот*, *хедер* – назовите, как хотите, – где *меламед* (то есть учитель) Рубинов учит мальчиков Торе и Талмуду. А второй заведует моя Ида. У нее все вместе – мальчики, девочки;

для всех детей любого возраста три предмета: чтение, чистописание и счет. С чтением лучше всего, есть книжки: Пушкин, Шевченко, Коцюбинский, Леся Украинка, Якуб Колас. С письмом плохо – писать нечем и не на чем. Пишут на проолифенной фанере кусками обожженной глины. Пробовали угольками – только перепачкались. А сперва упражнялись на Гиндине: обряжали в его черный тулуп, ставили как классную доску, он еще и тряпку с мелом держал. Спина широченная, знай пиши. Но мелки кончились. Да и Ошер сильно исхудал. Стали на пень его сажать, как медведя. Но и сидеть тяжело без питания. Приспособили фанеру.

Счет устный, в уме – даже лучше для умственного развития. Давно замечаю, что многие (в том числе с высшим образованием) не могут считать в уме. Сколько будет 17×9 ? Сразу за калькулятор или компьютер. На бумаге ручкой уже не пишут, не умеют столбиком перемножить простые трехзначные числа. «В уме? А зачем?» Затем, что ты, допустим, на рынке. «Так продавец сосчитает». А ведь должности занимают. И второе: не могут читать вслух, запинаются. Отвыкли, разучились читать губами и языком. И опять: «Что я, артист?» При чем здесь «артист»? Ты человек, вот при чем! Если рукой не двигать, она ослабнет, онемееет, отнимется. Так и мозг. Если какую-то его способность не задействовать, она зачахнет (по-гречески *атрофео*), потеряет жизненность, омертвевает.

Ида приставала ко мне, чтоб я учил детей счету: вы же математик! Во-первых, я тогда еще не закончил Минский университет, только перевелся на четвертый курс, доучивался там же, но уже после окончательной победы. Во-вторых, я же в роте Берла Куличника, у нас боевая задача: снабжение и охрана всего нашего лагеря –

тридцать с лишним землянок, барачков, палаток, нор, шалашей плюс мастерские, лазарет, инфекционное отделение, баня, склад, синагога... Начиная с «мастерских» до «синагоги» все как бы – и есть, и нет. Не буду вдаваться в подробности. А в-третьих. Что прикажете мне с учениками считать?

Эники-беники ели вареники,

Эники-беники-клец!

Эники и Беники сами сосчитаются после урока. Нет, про вареники считать нельзя. Что еще малыши считают? Яблоки, груши, сливы. Пирожки, пряники, конфеты. Сами понимаете, такие слова даже вслух произносить запрещалось. Считаем дальше. Рубли и копейки. Их нет. Может, у кого-то припрятаны даже золотые монеты, не знаю. Дальше. Никуда нельзя ни пройти, ни проехать, только пробраться. И как вы себе представляете такую задачку? «Один человек выбрался живым из пункта А и пробирался в пункт Б. Другой человек пробирался ему навстречу. Расстояние между А и Б десять километров. Спрашивается: когда они встретятся?»

Это вопрос! А ответ... скорее всего, никогда.

Жизнь неразрешима. То есть нам, евреям. Ну, вы понимаете. Для этого не надо быть математиком. Так что же прикажете детям считать? У нас была девочка из Бухенвальда, может, ксендз Кулак через связных привел ее к нам. С ней никто не играл. Она играла сама с собой: подпрыгивала по очереди на одной ножке, подбрасывала желтый камешек, ловила и пела песенку-считалку: «За-га-зу-ют или нет. За-га-зу-ют или нет».

Я излечил ее от этой считалки. Небом. Хорошо, что было тепло, а не холодно. Сказал: «Вера, давай считать облака». Мы легли рядышком, чтоб голова не кружилась. И стали считать облака.

А счет детям стал преподавать Масловец из Чярнух, он был бухгалтером в птицетресте. В отряд пришел со своими счетами. Вот на этих счетах, представьте, всех научил четырем действиям арифметики: сложению, вычитанию, делению, умножению. Он и в отряде вел весь партизанский баланс: спи соч ный состав, число бойцов, боеприпасы, съестное.

Ихл-Михл Куличник, наш командир, не раз повторял: «Пусть у мужика голова болит, как нас прокормить». Но у него самого голова от этой думы день и ночь болела. Сидит на сосновом пне, жует пучок заячьей капусты с таким видом, будто пробует спаржу. Сапоги начищены, фуражка со звездой, выбрит, даже ногти чистые, как у барышни. А к нему (краем глаза вижу) по-пластунски крадется оружейник Бровман. Шепчет, а слышно: то ли от лесной тишины, то ли голод обостряет слух.

– Товарищ командир. Я ж средний офицерский состав, орденосец. Выдайте хоть по ложке муки за орден.

– Бровман, выдал бы и два котелка, если б мог. Терпи. Ты же офицер. Налегай на витамины.

Вот и налегаем. Расползлись по полянам, ищем лещину, щавель, заячью капусту, кислицу, грибы хоть какие.

Отполз Бровман. Подошел к командиру средний брат его Берл (Идл у Куличников *мизиникл*, младшенький). Подростком я мечтал стать таким же сильным и

смелым, как Берл. Он занимался боксом и гимнастикой Мюллера. На соревнованиях мы всем двором болели за него, я громче всех орал.

Чемпион Чярнух в тяжелом весе. Еврей-тяжеловес. Еще тяжелее (во всех отношениях) был мельник Пинхус-Лейба – отец Ихла-Михла, Берла и Идла.

У Куличников была мельница. Мы мальчишками бегали смотреть, как мелют рожь, гречку, пшеницу. Даже горох. Видели когда-нибудь гороховую муку? Зеленоватая и в пальцах скрипит, как крахмал. Мельничиха угощала нас пышками, да еще даст в кульке два утиных яйца, чтобы я передал маме.

Всегда Куличники жили на хуторе. Дед их купил землю у графа Тышкевича, которому принадлежала вся наша округа, 27 тысяч гектаров земли – это мой дедушка сосчитал. Он все считал: сколько секунд в году, сколько букв в Торе, сколько льняных семян вместится в бабушкином наперстке. От него у меня дурная привычка считать все ненужное.

С Идлом мы два года вместе ходили в хедер к мела-меду Пинскеру. После хедера мы еще шли брать уроки музыки: он у Людмилы Игнатъевны Скибинской, ученицы знаменитого пианиста Пухальского, я – усваивать тайны бельканто у маэстро Ненни. По вечерам Идл играл на белом аккордеоне в ресторанчике «Лев в красном обруче». Меламед жаловался Куличнику-отцу, но там все решала их мама Двойра: мальчик приносит гроши в дом, а не выносит из дома, что здесь плохого?

Про Берла я уже сказал. Гордость местечка. Чемпион. Был молотобойцем у брата старой Двойры, но ушел от дядьки-кузнеца к ювелиру Житомирскому.

А был еще часовщик Тверской, жил через дом от нас. Если он что не мог починить, тогда шли к Житомирскому. Да и сам Тверской (в крайнем огорчении) однажды посоветовал маме, когда сломался дедушкин «мозер» с двумя золотыми крышками: на верхней отчеканен раненый солдат под знаменем с красным крестом, на нижней крышке – надпись: «Слава героям за правду. 1914 – 1916». Подарок Российского Красного Креста воинам, потерявшим зрение на поле боя. Дедушка, правда, потерял левый глаз на русско-турецкой войне, при взятии селения Горный Дубняк. Я был там, это под Плевной. Не горы, даже не высота, но турки оборонялись отчаянно. А штурмовала Горный Дубняк 16-я дивизия генерала Скобелева (формировалась в Минской и Могилевской губерниях, потому почти четверть личного состава говорила на идише). Потери при штурме всегда тяжелые. Отступили. Но унтер-офицер Файнерман с криком «Шма, Израэль!»[«Слушай, Израиль!» (*ивр.*) – первые слова главной ежедневной еврейской молитвы.] поднял в атаку свое отделение, увлекая за собой штурмовую колонну.

Дедушка служил в той же роте, что Файнерман, и тоже, по его рассказам, был «ундером». И очень уважал горькую настойку «Горный Дубняк». Я, к слову сказать, тоже.

А часы сломались, потому что я их пытался разобрать. Когда мама принесла израненный «мозер» Тверскому, часовщик в великой печали сказал маме: «Пани Балабан, это не ко мне». Фамилия Житомирского им не произносилась, но все и так все понимали. Самое смешное, что за часы Житомирский с клиента денег не брал, чтоб не отбивать хлеб у Тверского. Но если какой-нибудь умник шел напрямик к нему, ювелир смотрел механизм, далеко и быстро высовывал маленькую взъерошенную

голову, пристально смотрел умнику в глаза и подвигал к нему часы обратно. И тоже все знали: это к Тверскому.

Где они все, которых я назвал? Пинхус-Лейба Куличник и его Двойра, Пинскер, ювелир Житомирский, часовщик Тверской? Где те, у кого ломались или не ломались часы? У кого вовсе не было часов? Где евреи нашего местечка? Где «хитрые ивреи» Смоленщины?

В самой сырой земле, которая только есть на свете. А те, что спаслись, – спасибо Ихлу-Михлу! Старый Куличник думал ему оставить дело. Ихл-Михл мог разобрать и собрать мельницу, как часовщик – часы. Но Ихлу-Михлу нравилось быть солдатом. Срочную он служил в польских уланах, еще полгода дослуживал до хорунжего. Потом оказался в Испании, но это я узнал после и не уверен, что он на самом деле воевал в Испании, – я имею в виду старшего из братьев Куличников. А вот что сам видел: вернулся он в сентябре 39-го вместе с Красной Армией. В кожанке, галифе, фуражке со звездой и наганом, – начальником милиции. И бабником, каких Чярнухи сроду не видывали. Многие мужья грозились переломать ему ноги.

Я влюбился в его зловещую улыбку, как у ковбоя Ринго Кида. Кто видел «Дилижанс» с Джоном Уэйном, тот меня поймет. Ихл-Михл был копия ковбоя Кида: походочка, улыбочка и стрелял без промаха. Потом, в лесу, он уже не улыбался, но зловещая печаль осталась. Даже еще зловещей стала.

Сколько раз я смотрел «Дилижанс», слушая, как маэстро Ненни добывает старенькое пианино. Мне страшно было и за пассажиров дилижанса, и за инструмент.

Кстати, о звуках, звучании, тональности, вообще мелодике. Литературный текст, который я пытаюсь написать, будет с музыкальным сопровождением от начала до конца и завершится кодой (*coda* по-итальянски хвост), но это уж как получится.

И другая красная нить, или, точнее, силовая линия напряжения. Вы, скорее всего, не электрик, не металлург. Я тоже. Но много бывал на заводах – по линии пропаганды русских шашек в трудовых коллективах. После войны началась кампания за приоритеты в науке и технике. Как говорится, Россия – родина слонов, пустотелого кирпича, граненого стакана. И пропагандировались исконно-русские состязания, забавы, игры: лапта, городки, перетягивание каната, гири и, разумеется, шашки. Конечно, шашки – русская игра, но я помню один чемпионат СССР, где из восемнадцати участников оказалось шестнадцать евреев и один татарин.

В общем, я колесил по всей необъятной родине. А на такие гиганты, как «Красное Сормово», ЧМЗ, ЗИС, ГАЗ, «Шарикоподшипник» и так далее, нужен был *допуск* – это же «режимные» предприятия оборонного значения. У меня был спецпропуск.

Помню, на «Красном Сормово» меня направили в цех штампов. Не в рабочее время, понятно, а в обеденный перерыв. Металлисты сидят, «забивают козла». А «камни» не простые, не золотые, а стальные, отшлифованы как зеркало. И стол из брони. Стук как очередь из «станкача». А тут я с шашками. Мастер мне и говорит:

– Товарищ мастер в шашки (я уже был заслуженный мастер спорта, но еще не гроссмейстер), может, забьете с нами козла? А что мы русские, мы и без шашек знаем.

Думаю: а ведь верно! И кепкой об пол: черт с ней, с путевкой! В профкоме мне подписывали путевку, где указывалось, сколько рабочих слушали лекцию, сколько вопросов задали, сколько мной сыграно партий, с каким результатом. Документ для бухгалтерии. А я тогда азартный был. Сел с лекальщиком против двух слесарей. И такого мы им козла забили! Офицерского! Когда кончаешь дуплетом с двух сторон, причем одна фишка «гитлер» (шесть:шесть). При таком финале проигравшие забойщики встают по стойке «смирно».

Встали слесари, а тут как рванет! Может, станок полетел? Нет, все на месте. А что оказалось? Принесли слесарю заготовку для штампа. Закалили как положено, а отпустить забыли. И стальной брусок разорвало, как глечик, на четыре куска. Лежат на верстаке. Какая же сила это остаточное напряжение. Мне объяснили: отпуск – не просто охлаждение раскаленной и закаленной стали, то целая наука, как обеспечить наилучшее соотношение прочности, твердости и вязкости металла и снять остаточное напряжение, возникающее при закалке.

Попросил я мастера подарить мне на память кусок той стали.

– Нельзя, мы за каждую заготовку отчитываемся. Даже стружку сдаем, чуть не каждую опилку считаем. Спецсталь! А вот от всего нашего участка единогласно дарим вам полный комплект домино. Я их целый год точил из победита [*Победит* – первый в СССР сверхтвердый сплав из монокарбида вольфрама и кобальта, получен в 1929 г.]. Грань такая – стекла режет. Алмаз!

Вот они, «камни» стальные. Земля взорвется, а с ними ничего не сделается. Не сточатся, не разобьются, даже оцарапать их нельзя. А сыграть не с кем. Президент шашечной федерации назвал меня «гением одного хода» (он имел в виду второй ход белых: 1. gh4 ba5 2. ed4; над ним я думал почти полвека). То, что я понял, обдумал, доказал, открыл – простите за нескромность – гениально, и это важно для теории игр, математики, логики, изучения основ мышления, но это никому не нужно. Как и все мои «завиральные идеи», по словам моего сына (а внучка Сашулька называет их «врушки»), вроде «гроссмейстерского союза». А что? Почему бы не объединиться всем гроссмейстерам – шахматистам, шашкистам, рыцарям Мальтийского ордена, гроссмейстеру британского ордена Подвязки – в один союз. Дружить и приходить на помощь друг другу. Пока не получается. Вот и сижу, вытачиваю свою повесть о небьющемся человеке. Сам не представляю, кто же им станет. Но самую мысль подала внучка Сашулька.

Вырастет, станет Александра Семеновна. Может, так надо. Да и что Сашульке от нас еврейского досталось? Даже бабушкино имя Ида ей не дали. Как я просил! Имя ведь многое значит. Может и спасти, и погубить человека.

Иногда кажется: будь Сашулька Идочкой, никогда не разбила бы то, что я берег больше всего на свете... Ида не разбила бы... Потому что она придумала про желтую звезду. Эстерка мне написала. Это им в школе задали придумать сказку про звезду, когда погиб первый израильский космонавт. Ну, все знают, ракета взорвалась, кусок обшивки отлетел... И Идочка придумала. Сейчас письмо найду. Эстерка перевела для меня на русский.

Идочка же не знает русского. Вот ее «Сказка про желтую звезду».

«Она была обыкновенной звездой, нашитой на пальто моей прабабушки.

Полицай аккуратно убил ее, чтоб не запачкать пальто. Отпорол ножом желтые лоскуты, втоптал в грязь. Но она же была звезда, хотя и тряпичная. И она вознеслась в небеса – к алмазным, золотым, серебряным звездочкам. И сказала:

- Мир вам, прекрасные сестры мои!
- Ты грязный лоскут, на небе тебе нет места.
- И на земле меня ненавидят. Куда ж мне деваться?
- Убирайся, откуда пришла.
- Если б я знала, откуда... Наверное, я отовсюду».

Почему Семен не рассказал Идочкину сказку Сашульке? А я почему?

Две мои внучки, две лисички-сестрички. Двоюродные. Одному непутевому дедушке Немке они обе родненьки. У Идочки родная речь – иврит, у Сашульки – русский. Поймут ли друг друга? Правда, у нас вот многие не знают языка, а говорят свободно. Но это совсем другое. А самое лучшее, если бы щебетали мне, как птички, на идише. Спели бы деду песенку про козочку и горькие апельсины.

ГЛАВА ВТОРАЯ

– А кого ты больше любишь: папу Сеню или меня?

Сеня – мой сын, наш с Идой. Вообще-то он Шимон, но после армии вернулся Семеном. А Сашулька – его дочь. Как я просил дать девочке хорошее еврейское имя! «Папа, но мы же не в Израиле. Зачем обижать Лиду? Зачем дразнить людей? Сара, Двойра, Нехама – ты этого добиваешься? Испортить жизнь твоей внучке?»

Лида, кстати, была не против назвать дочь по бабушке, но Сеня уперся. Имя... Имя спрашивать не будут, когда налицо физиономия. Фира Коган из нашего подъезда (для ясности: я уже сорок лет проживаю в Москве, с тех пор как стал тренером по шашкам Всесоюзного общества слепых, от них и получил жилплощадь, а в Чярнухах подъездов никогда не было), когда умер муж, заказала надпись на надгробье: «Член КПСС с 1942 г.». Думала, на коммуниста и фронтовика рука не поднимется. Поднялась. Намалевала свастику. Так что, сынок, ты, наверное, прав, что назвал дочь Александрой и в школу на будущий год записал русской.

Сашулька пыхтит, сердится, что я медленно решаю ее задачку. Как настоящий педагог (есть в кого: и мама, и бабушка – педагоги) ставит вопрос по-другому.

– Деда, ты меня любишь?

– Еще как!

– Тогда дай мне насовсем эту куклу.

– Сашулька, это не кукла.

Хочу взять назад у внучки фарфорового паяца. Ей пять лет, но ее лапки цепче моих косточек, не сладишь.

Но она, надув щечки-белочки, сама отдает. Сидит, поджав ножку (мамина привычка – сесть на ногу, обязательно левую), а правой рукой разглаживает скатерть.

– Не люблю тебя.

– Но это правда не кукла. Это подарок твоей прабабушке. Как ее звали?

– Не знаю.

Все она знает, но обиделась.

– Нехама.

– Разве бабкам дарят подарки?

– Она умерла совсем молодой. Ты вырастешь такой же красавицей. И потом, толстушка-квакушка, бабки тоже любят подарки.

– Ты жаба, – делает она неожиданный вывод. У нее безукоризненная логика. Жаба на ее языке жуткая жадина. Не отдал, что ей нравится, значит, жадина.

– Наверное, – соглашаюсь я.

Мне и правда жаль отдать внучке фарфоровую фигурку – единственное, что осталось от мамы, от маэстро Ненни, учившего меня пению, от Чярнух.

Маэстро Джеронимо, или Иероним Иванович, как его называли, был мальчикового роста, с гривой черных волос, с черным бархатным бантом, в тройке, в тон костюму заказные туфли от Хаскеля Туркенича, еще до Красной Армии уехавшего в Америку и ставшего, по слухам, миллиардером. Туркенич был лучший обувщик, а это кое-что значит. Кроме того, у него было одеяльное дело. Когда закладывали склады для партизан, обязательно

клали тюк шерстяных одеял Туркенича. Ой как они намгодились.

Еще у Иеронима Ивановича была трубка в горле, говорили даже – серебряная, потому что он в детстве по ошибке выпил каустик и сжег горло. Но я своими ушами слышал, как портниха Брейна Фомина божилась маме, что Иерониму Ивановичу изменила невеста, сбежала с офицером, и маэстро неудачно отравился. А по-моему, как раз удачно.

В общем, личность в нашем городке приметная. О нем судачили в парикмахерской, в ресторанчике «Лев в красном обруче», в единственном кинотеатре «Титан», где Иероним Иванович, сидя на круглом стульчике слева от экрана, аккомпанировал немой картине.

Моим любимым фильмом был «Дилижанс». Я смотрел его шесть раз и еще три раза, сидя на полу позади экрана: мелькали только силуэты, как на базаре вырезал за пару грошей одноногий отец Брейны Фоминой. Про него тоже говорили, что ему прострелил ногу какой-то офицер, когда в Чярнухах стоял Гродненский уланский полк.

Некоторые женщины специально ходили смотреть на пианиста, и, когда включали свет, все видели три белые лилии у ног маэстро Ненни, и все знали, от кого цветы – от Зоси Грасицкой, вдовы парикмахера Грасицкого, умершего от заражения крови – наколол пятку на шип акации. А у него ведь была палочка адского камня для прижигания порезов. Клиентов пан Грасицкий берег, а вот о себе не позаботился, оставив молодую интересную вдову с двумя близнецами. Оба – Юзек и Янек – брали уроки у Иеронима Ивановича: Юзек – скрипка, Янек – фортепьяно (хотя лучшей пианисткой нашего города была, конечно, Скибинская). Но для Грасицкой маэстро сам

был бесконечной увертюрой. Ну кто еще в Чярнухах мог сказать такое: «Знаете, Зося, какая у меня мечта? Стоять с протянутой рукой перед «Ла Скала», все окна настежь, а я слушаю «Травиату». Вы не представляете, какое это счастье!»

Когда пришла Красная Армия с советской властью, маэстро Ненни оказался противоположно далеко от Милана.

За день до ареста он пришел в крошечную кондитерскую на Старом рынке и оставил Зосе фарфорового паяца.

На уроках Иеронима Ивановича (как гордо всем говорила мама: «Немке берет уроки вокала») я всегда смотрел на статуэтку вместо того, чтобы смотреть, как правильно опирать дыхание на диафрагму.

– Бамбино, диафрагма – это основа, фундаменто! Голова только резонатор.

Сольфеджио я ненавидел, считал это девчоночьим занятием вроде вышивания, но маэстро нашел у меня малюсенский тенорок.

– Беньямино, ты меня расстроил. С таким прекрасным именем – и такой лентяй. Отшлепать тебя надо этой партитурой, но нельзя: она с пометками великого Артуро Тосканини специально для меня. Ты понимаешь, мальчик? Ты должен заниматься хотя бы из уважения к учителю.

Сам маэстро боготворил своего любимого учителя – Руджеро Леонкавалло.

– Мой папа часто заходил в кафе, где маэстро подрабатывал тапером. Как я сейчас. А ты готов смотреть целые дни дурацкое кино, где стрельба и погоня. Молчи, несчастный! Мы были такие бедные, что у папы не было несколько сольди на чашку кофе. Но всегда находился добрый человек, оставлял на стойке несколько монет: «Кофе для Джузеппе». Для моего папы, мальчик. Милле граacie, синьоры! Я убирал посуду со столиков, и за это мне разрешалось слушать игру маэстро. А ведь Леонкавалло тогда написал уже две оперы, но публика не захотела слушать. И вот маэстро играет где придется, дает уроки. Бродячий музыкант, комедиант. Но не паяц! И вот.. – маэстро Ненни брал с этажерки фарфоровую фигурку, осторожно ставил на ладонь, – «Паяцы»! Премьера в Милане.

В основу сюжета «Пяцев», если кто не знает, положены подлинные события, свидетелями которых стал маленький Руджеро: ревнивый актер странствующей труппы убил ножом во время представления в деревне Монтальто в Калабрии неверную жену и ее любовника. Убийцу судили. Судьей был отец Руджеро – Винченцо Леонкавалло. Эта трагедия оставила глубокий след в душе будущего композитора. Ему тогда было столько же, сколько Сашульке. Либретто оперы написал сам Леонкавалло.

– В «Ла Скала»? – в десятый раз повторяю дурацкий вопрос, лишь бы не заниматься сольфеджио.

– Нет, в «Даль Верме». Дирижирует Артуро Тосканини. Мы с дядей специально приехали на премьеру из Салерно, через всю Италию. Я сидел в бархатном кресле, как взрослый. Дядя снял ботинки, завернул в куртку и усадил меня на них, чтоб мне все было видно. Беньямино, ты не представляешь, какая овация! Публика требо-

вала Леонкавалло, знаменитого баритона Виктора Мореля и, конечно, тенора.

Маэстро так бурно представлял премьеру, что у меня тогда еще закралось подозрение: а не пережил ли он сам нечто подобное? Как он, итальянец, оказался в нашем местечке? Говорили, влюбился в шинкарку (или ее дочь) в Новогрудках и там отравился – выпил каустик, сжег себе горло. Он, говорили, был когда-то хорошим тенором.

Маэстро никогда не вспоминал ни Варшаву, ни Новогрудки. Но иногда брал фарфорового паяца, прижимал к груди и... пел? произносил? Не могу передать, как преображалось лицо маэстро, когда с его губ срывались два слова: «Ridi, pagliaccio» – «Смейся, паяц». Будто две розы рука срывает с куста, в кровь пронзая пальцы шипами. Глаза... может, от слез или не знаю отчего, но – клянусь! – они из карих становились синими. Не прощу себе, что не спросил имя тенора – самого первого, кому Леонкавалло доверил партию Канио. Маэстро Ненни, наверное, в голову не приходило, что я этого не знаю. Не знаю, маэстро! До сих пор не знаю.

Только сердце отпустило – из комнаты разбитый звук.

– Деда, она сама! Я не трогала.

Если бы сама нечаянно упала, было бы не так. Так, со всей силой, разбивает только злость.

Ах, Сашулька, теплый животик – бархатные лапки, лучше бы ты голову мою разбила.

Сашулька сопит и дуется на меня, стучит пухлой ножкой по ножке стула, но все-таки показывает пальчиком, где еще осколки. А я, как собачонок, ползаю. Пока не догадываюсь смести веником в совок и осторожно ссыпать на газету. Счастье, что голову отбило целиком, но остальное вдребезги. Никак не могу сосчитать осколки, руки дрожат. И губы. Перекладываю кусочинки фарфора.

Ты наряжайся и лицо мажь мукою,

Народ ведь платит, смеяться хочет он.

– Деда, ты играешь в пазл?

– Что, мое солнышко?

– Ну, в такие картинки. Как маленькие печеньеца. У меня есть. Дай, я соберу.

– Нет уж, я сам, – бормочу я. – Пазл-мазл, пазл-мазл...

Самое трудное – собрать фарфоровый букет. Ползаю с лупой, как сыщик. Кружевной фарфор, тончайший, видна была каждая роза.

Зачем розы Паяцу? Для Коломбины?

«Но, но! – воскликнул бы маэстро. – Нет, нет!» Букет не Коломбине – артисту, и не бродячему комедианту Канио, а тенору. Ему брошен букет и прижат к груди.

Хорошее название для еврейского отряда – «Паяцы». Но мы назвали отряд «Пурим». Это самый шумный и веселый праздник, когда еврею предписано напиться так, чтоб не отличить праведника от злодея, мудрого Мордея от злодея Амана.

Пурим – от еврейского *пур* (жребий). Жребий должен был решить, в какой месяц истребить евреев, а на самой высокой виселице повесить мудрого Мордехая, дядю красавицы Эстер, которая стала любимой женой правителя.

Гауляйтер Кубе тоже грозил повесить нашего командира Ихла-Михла, но его самого взорвали партизаны. Сменивший его эсэсовский генерал фон Готтберг тоже грозился, но его самого повесили после войны. Гиммлер обещал Гитлеру принести голову Ковпака, а сам сдох как собака.

К черту войну!

Тебе нельзя вспоминать, Веня. Но я же обязан помнить. Нельзя, а никуда не денешься. Ситуация глупее не придумаешь.

Когда я первый раз увидел Ихла-Михла Куличника? Не помню. Кажется, знал его всегда. Но запомнил после танцев под аккордеон в бывшей синагоге. Год 1929-й. Мама совсем молодая. Мне двенадцать лет, но я уже чемпион воеводства по шашкам. Мне дали за победу чашку с польским орлом и плитку постного сахара. До сих пор помню его цвет, запах, вкус.

Не знаю, за что дедушка невзлюбил чашку.

– Нехама, отдай ее нашему зятю, пусть пьет из нее мою кровь.

Не мог простить папе, что папа тащил его из синагоги, как коренной зуб из челюсти. Папа считал дедушку отсталым мракобесом, дедушка считал зятя придурком.

После таких слов в свой адрес папа кладет недогрызенный кусочек рафинада на блюдец и встает из-за стола, одергивая френч.

В нашей семье все мужчины горячие, азартные, все спорщики и игроки.

Я – харцер, скаут. Но я горжусь, что мой дед – *габай*, староста синагоги. В праздники он ведет меня в синагогу, чтоб я научился быть евреем. А папа-плановик учит бухгалтерскому делу, как до этого научил шашкам. Он артистично щелкает костяшками счетов. Весь годовой баланс у него готов в два часа. Все цифры у него в уме, даже проценты с маржи – разницы между ценой продавца и предлагаемой покупателем (попросту говоря, барыш).

А в чем моя маржа? Что я имею с жизни? Иды уже нет. Это и хорошо, и плохо, тут ничья. Сын и дочь – это, что ни говори, дано не каждому. Две внучки – Эстерка и Сашенька. Четыреста процентов прибыли на вложенный капитал, и дай Боже ему приумножиться. Да и какой такой капитал я вложил в собственное дело?

Жизнь начиналась отвратительно.

Помню, мы лежим на полу, прячемся от поляков. Они обложили наш дом соломой, облили керосином и подожгли. Как мы спаслись из огня и черного дыма?

Потом оспа. Сделали прививку на левой руке – не привилась. На правой – не привилась. Как я остался жив?

Потом реб Плотников учил меня зачем-то белорусскому языку и арифметике, а реб Мудрик читал с нами Тору и бил линейкой по ладоням, чтоб мы на уроках не грызли орехи.

Реб Плотников работал сторожем в туберкулезном диспансере. Приходил после ночного дежурства, я что-то бубнил, он засыпал, опираясь бородой на слабую грудь, и на конец-то ровно дышал, не надрывался кашлем. Я, как обезьяна, вылезал в окно, гонял с мальчишками резиновый мяч. Не помню, кто и за что меня ударил камнем, но правый глаз перестал видеть.

Подозреваю, что голову мне прошиб Гришка Юнанов по прозвищу Армяшка – он, его папа и мама чистили обувь в трех точках: на площади перед магистратом, на Старом рынке и перед синагогой; все три самых оживленных места можно было обойти за час, если даже зайти в «отель», публичный дом (к сожалению, я его уже не застал, когда стал интересоваться значными вопросами), парикмахерскую, костел, ресторан, спортивный клуб и турецкую баню тех же Юнановых. Только в лесу я узнал, что Гришка и вся его родня – айсоры, потомки древних ассирийцев, во времена которых и случилось то, что празднуют евреи в пурим. Когда в Нюрнберге вешали приговоренных, тщедушный старичок с плешивой голошейкой упирался, не хотел на виселицу. Его, главного антисемита рейха Юлиуса Штрайхера, волокли к петле два солдата, а он кричал: «Пуримфест!». Спятил на еврейской почве. Это я от Цесарского узнал, нашего партизанского хирурга. В Нюрнберге он был экспертом при группе советских обвинителей.

А вот сейчас вдруг подумал: ну повесили Штрайхера, кого-то еще. Геринг сам отравился. Обыкновенная история. Некий сановник (вельможа, первый министр, vizирь, гауляйтер, член политбюро) нашептывает властителю: «Живет среди твоих подданных некий народец, изо всех сил вредящий тебе и нашей великой могучей державе, только и мечтает, как бы нажиться на угнетении нас,

коренных-исконных, и захватить всю нашу необъятную землю со всеми недрами и богатствами».

Подобных примеров не счесть от Артаксеркса до Сталина, от фараонов до фюрера.

А необыкновенной история становится тогда, когда правитель наотрез не верит, как Станиславский. Об этом и было «Артаксерксово действие» – первая русская пьеса, представленная царю Алексею Михайловичу 17 октября 1672 года в селе Преображенском в нарочно для того воздвигнутой «комедийной храмине», где царь и беременная царица десять часов кряду, не вставая, зрели дикувинное представление.

Глашатай громко объявил боярам и прочим зрителям:

«Царю Артаксерксу все было подвластно, и даже само счастье, словно коня, мог он себе подчинить, но, однако, и он познал переменчивость счастья и ненасытную силу зла.

Вы увидите, как гордыня, по воле Божьей, сокрушается, и смирение венец достойный приемлет, как гордячка Астинь будет отвергнута, а на ее место взойдет добродетельная Есфирь, приняв ее корону, как великий воин Аман из-за гордыни своей все потеряет, а его богатство, честь и слава смиренному Мордохею отойдут.

И не без Божьей воли переменчиво так счастье. Порой мы думаем, оно уже у нас в руках, ты ухватился за него и крепко держишь, но Бог всевидящ и по Своему усмотрению может счастье вспять повернуть. Его суд превыше суда человеческого. Вот, казалось, народ Израилев к смерти приговорен, кровавый меч убийцы над го-

ловами взлетел, но волей Божьей страдания и радость обращаются, убийца пал, народ Израилев побеждает».

Это из программки, которую я храню вместе с двумя билетами на единственное представление 31 января 2000 года. Последний раз, когда Ида вышла из дома. Потом... потом ее уже вынесли.

Амана повесили на громадной виселице, которую по его приказу построили, чтоб повесить мудрого Мордехая, Мордтку. Оттого и кричал Штрайхер: видел себя Аманом, которого еврейские козни приволокли к виселице, уготованной им для казни мирового жидомасонства.

Итак, 16 октября 1946 года в Нюрнберге повесили злодеев. Трупы сожгли, как умерших от чумы. А пепел захоронили в могилах под вымышленными именами американских солдат. Юлиусу Штрайхеру достался псевдоним «Абрам Гольдштейн». Было ему отчего спятить на том и на этом свете.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Редактор сионистской газеты «Гехалуц» («Пионер») Йосеф-Лейб Цфасман, наш дальний родственник, однажды пошутил: «Еврей – это больше, чем национальность, но меньше, чем партийность». Не знаю, в какой точно партии он состоял, но его арестовали еще до войны и посадили на двадцать лет. Больше я не видел его. Он мечтал, что в Палестине будут расти яблони и вишни, как в Полтаве, а огурцы, как в Нежине.

А дядя Соломон из Бобруйска? Он мечтал выиграть в лотерею трактор «Интернационал». Сторожил городской сад, а под своими окнами разбил палисадник. Будь у него хотя бы маленький трактор, дядя Юдл превратил бы Бобруйск в Эдем. У него была необыкновенная голова. Сосчитать мог все мгновенно, как папа на счетах. Только в уме.

Я любил дядю Соломона, его сад, его задачки. Однажды я приехал к нему и попросил, чтоб мы пошли в горсад. «Нет, мы сейчас пойдем в другое место».

Мы свернули на Софийскую улицу, где жил известный всему городу раввин Шмуэл Александров. Ступеньки старенького крыльца подгнили, так что подниматься надо было с опаской.

Александров встретил дядю приветливо, а на меня посмотрел с улыбкой, не обещавшей ничего вкусного, хотя я почему-то рассчитывал хотя бы на ржаной коржик.

– Реб Шмуэл, это мой племянник Немке Балабан.

Раввин как клещами ухватил меня за ухо и потянул. Я упирался. Он тянул и надорвал мне ухо, где мочка при-

росла к скуле, даже кровь закапала на крашенные половицы.

– Немке, так твой отец и такие же сукины дети тащили твоего деда из синагоги: двое за руки, двое за ноги, один за бороду. И не могли вытащить. Иди в синагогу, собери его ногти. Похорони их, прочитай над ними кадиш.

Я плелся за дядей Соломоном, держась за порванное ухо.

– Зачем мы пошли к этому сумасшедшему?

Дядя замахал руками:

– Никогда не говори так! Это гений, запомни!

– Ты знаешь больше.

– Я знаю то, что знают другие. А реб Шмуэл знает то, что не знает никто.

Возможно, дядя был прав. Тогда я последний, кто помнит бобруйского гения – раввина Шмуэля Александра. Он погиб со всеми евреями Бобруйска. Во всяком случае, я последний, кому он чуть не оторвал ухо.

Когда освободили Минск, я сразу, даже не заезжая в Чярнухи, добрался туда продолжать учебу. В Чярнухах у нас ничего не осталось, даже могил. Все было уничтожено. Но папа знал, что Сусанна Гальперина, дочь двоюродного брата бабушки Мордтки Гальперина, заведовавшего пробирной палатой в Нежине, вернулась. Я ее помню: красавица! На каждую грудь хотелось надеть шляпу.

Она жила возле пристани, на втором этаже (пароходство было на первом). Когда объявили эвакуацию и

нам дали пару меринов с телегой, она пришла помочь увязать наши пожитки.

– Суска, а твои где узлы? – спросила мама.

– Вот моя торбочка.

Соль, спички, сахар, кружка, ложка, кастрюлька, белье, пять кусков мыла, «Евгений Онегин» Пушкина, «Лісова пісня» Леси Украинки и «Сказки гетто» Шолом-Алейхема на русском языке, еще с «ятями». И столовое серебро – отцовский подарок на свадьбу. Мужем Сусанны стал чярнухинский адвокат Штерн (но Жданович был лучше). Через четыре-пять лет они развелись, детей не завели. Говорили, Штерн перебрался в Киев.

– И все? – удивилась мама.

У нас-то набралось много добра. Самое главное – три мешка сухарей. Как мама услышала Левитана, стала покупать белые батоны и буханки черного. Нарезет – и в печь, на железный противень. Мешок макарон. Сахар-рафинад папа достал. И большой бидон подсолнечного масла. Сало. Одежда, конечно. Еще и зимняя: пальто, полушубки, валенки с галошами. Подушки, одеяла. Чугуны, сковороды, посуда. Хорошо, что повозку нам дали большую, с бортами, как грузовик, и двух битюгов – черного и пегого, как перепелиное яйцо. Черного запрягли в оглобли, а пегий тянул пристяжным, в хомуте.

А что оказалось? Семья адвоката Ждановича в тот день эвакуировалась. Фира Жданович забыла горшок для малыша, бегом вернулась, а из ее квартиры уже вынесли шифоньер, кровать, патефон, этажерку. Диван застрял в дверях. Грабить начали, не дожидаясь, пока теплоход с эвакуированными отвалит от пристани.

Сусанна посмотрела, как люди мучаются с чужим добром, взяла чугунный утюг и перебила у себя все, что могла.

Вот в эту жилплощадь с черепками и окаменевшей кучей дерьма Сусанна Гальперина-Штерн вернулась начать жизнь сначала. И папе дала по-родственному приют, разделив комнату занавеской.

Папа устроился в обувную артель инвалидов по довоенной профессии, конечно, не первой – скорняк и шорник, а по второй – плановик. Аванс и премию оставлял себе, а основную зарплату сдавал Сусанне. Она кормила его, обстирывала, смотрела за ним, как нянька, хотя была на двадцать лет моложе – моя ровесница.

Когда папе исполнилось 60 лет (он родился в високосный год – 1888, в високосный день – 29 февраля), Сусанна выстирала, нагладила, постелила занавеску на стол вместо скатерти. Сервировала стол (как раз отменили карточки, да я привез из Гродно, где участвовал в турнире на приз С. Ковпака, копченую колбасу, шпроты, шампанское и любимые папины маслины). Приборы, конечно, были не серебряные, тарелки не фарфоровые, фужеры не хрустальные. Зато тост оказался золотой. Конечно, я первым делом хотел, чтоб мы выпили за папу, но Сусанна сделала мне знак «сиди» и встала сама.

– Яков Евсеевич, я делаю вам предложение. Вениамин Яковлевич, будьте свидетелем. Если согласны, пусть эта занавеска так и лежит на столе, а не висит на веревке. А если я вам не подхожу, поищите другое общежитие. Я женщина и должна устроить личную жизнь. От вас теперь зависит, за что мы сейчас пьем. Горькое или сладкое.

Папа от неожиданности сел. Потом встал. И жалобно посмотрел на меня.

– Немке, а ты что скажешь?

– Папа, мамы уже нет. Тебе самому решать.

Папа ответил «да» – ему тоже надо было как-то устраивать жизнь. И не приблизительно, а, по возможности, точно.

Однажды папа увидел, как кладовщик выдает мастерам обрезки кожи на стельки. Взял обрезок – и увидел древние еврейские буквы.

Ни слова не говоря, папа пошел на базар, купил у спекулянтов хром и шевро, выменял у кладовщика те обрезки и у всех мастеров собрал стельки с еврейскими буквами. По квитанциям выяснил фамилии и адреса клиентов, пошивших обувь в инвалидной артели, и, где только мог, скупил обувь с «еврейскими» стельками. Нетрудно догадаться, откуда взялись обрезки, – из обрывков Торы, подобранных в разрушенной синагоге, из которой папа с другими ревсомольцами тащил за руки-ноги-бороду габая – своего тестя, а моего дедушку.

Папа был одним из первых ревсомольцев местечка. Когда я был маленьким, он с гордостью рассказывал мне, как они с бабушкой гостили у родственников в Малине и он сидел на коленях у Григория Котовского. Каждый раз, когда упоминался прославленный комбриг, дедушка кричал: «*А шайкес бандит!*» Надо переводить?

Конечно, папа давно вышел из комсомольского возраста, но как ни пытайся, никак не выйти из того, что ты сын своего отца. А папин отец был, как я случайно узнал, *сойфером* – переписчиком Торы. Поэтому, наверное, у

папы до самой смерти был изумительный почерк. Поэтому он, сын сойфера, разглядел слова Торы на стельках.

Когда набралось семьдесят пять обрезков – столько, сколько слов в *кадише*, заупокойной молитве, папа сложил их в глечик и похоронил рядом с могилой дедушки. Только не знаю какого – сойфера или габая. И прочитал над святыми буквами кадиш.

Боже, сколько евреев мечтали, чтоб их так похоронили. Но им запрещали и это.

Моего отца по-настоящему звали Яков Янкель-Овсей Балабан. Еще у него было имя Хайм, которое ему дали, когда он маленьким тяжело заболел скарлатиной. Он выздоровел, новое имя ввело в заблуждение смерть.

Умирая взаправду, папа взял с меня слово, что его понесут на руках через весь город – от пристани, мимо бывшего еврейского кладбища (там после войны построили кондитерский цех) до нового кладбища. Он хотел, чтобы люди спрашивали: вы не знаете, кого это так хоронят? А я, его сын, отвечал бы громко, как еврей, читающий Тору: «Якова Янкеля-Овсея Хайма Балабана».

Я обещал отцу, но нарушил слово – его не разрешили нести на руках. В бюро ритуальных услуг еще и разорались: «Хотите устроить демонстрацию? Скажите спасибо, что вашу нацию вообще разрешают хоронить!»

Что я мог ответить в декабре 52-го? А моя мачеха Сусанна Гальперина-Штерн ответила: «Сволочь! Мы бы и не умирали, если б вы нас не убивали!»

Заведующий ритуальными услугами был бывший полицейский – младший сын старого казака Меняйло.

И когда я так весело думал, позвонил внук Ошера Гиндина, того самого, с которым я рыл свою первую землянку в Глыбенской пуще. Лопат у нас не было. У меня был топор, им мы рубили корни, а землю гребли руками. У Ошера не ручищи были – лопаты. Я ему только мешал, зато крутил самокрутки на нас двоих.

Потом мы уже вместе держались. Это он научил меня запаливать бикфордов шнур не термическими спичками, а сигаретой – так надежнее. Сам он редко курил, только когда самогонки выпьет.

А вот самогонку, бибер, бражку из кисельного концентрата я его пить научил. Гордиться, конечно, нечем. Но чему еще я мог научить Ошера? Шашкам? Математике? Сольфеджио? В лесу это все лишнее, там главное – не заблудиться.

Был у нас Исаак Ермилов, «Изя великий охотник» (как он в шутку себя называл), пограничник, еще один окруженец, выбрался из лагеря для пленных в Шепетовке вместе с военврачом Цесарским. Как? Немцы отпустили, приняв за татарина, хотя он чистокровный русак, но из жидовствующих. Их целая деревня таких была, поселились когда-то в лесах под Костромой. Всякая власть притесняла их – и церковная, и мирская. Вот и пустились они всей деревней искать за Саянами сказочную страну Беловодье. И оказались в неведомой Туве, Урянхайском крае, где начинается Енисей. Куда и сейчас проложить чугунку не могут. Что там с жидовствующими произошло, неизвестно, но Изя остался в таежной заимке один, как волчонок. Подобрал его тувинец-охотник и воспитал настоящим следопытом. Изя и похож был на азиата: скуластый, нос шанежкой, глаз всегда прицеленный. Ночью, в

туман, в снегопад – как по линейке куда надо выведет; принюхается и рукой махнет: туда. И спал, как собака, свернувшись в снегу.

Однажды, спасаясь от полицаев, пришлось нам с ним всю ночь пролежать под елками, обвиншись вокруг ствола. Изя потом сказал, что боялся, как бы храпом себя не обнаружить – тепло же от костра, полицаи картошку пекли, самогон пили, салом с хлебом закусывали. А я боялся застучать зубами от холода, до того заоченел!

У меня с ориентированием плохо. Отойду на полкилометра от лагеря – заблужусь. Поэтому ни в разведку меня не брали, ни на диверсии, ни к мужикам за пропитанием. Зато я лучше всех читал Тору, когда наш отрядный раввин Наумчик вызывал меня к свитку. Все-таки я внук габая.

Партизанский день начинался с молитвы.

Ребе Наумчик старательно накладывал на лоб священные черные кубики и черным тонким ремешком семью витками обвязывал правую руку (ребе был левша) от плеча до ладони, чтоб и на руку наложить *тфилин* – черные коробочки со словами на пергаменте. И накрывал себя талесом.

– *Шма, Исраэль!* Слушай, Израиль! *Адонай Элогейну, Адонай эхад.* Господь – Бог наш, Господь един.

Потом ребе оглядывал всех нас и своим взглядом, как детей, поднимал словами молитвы к Всевышнему: посмотри на них, детей Твоих, благослови, помилуй, спаси и сбереги нас, остаток народа Твоего.

А мы, после молитвы ребе, кричали: «*Ам Исраэль хай!*» – «Народ Израиля жив!»

Может, мы и выжили потому, что нас, как Моисей, вел по лесам, по топям Ихл-Михл и каждый день за всех нас молился ребе Наумчик.

Я и сейчас, когда вижу на стене свастику или тезис про жидов и Россию, ору, раздирая горло:

– Хер вам! *Шма, Исраэль! Ам Исраэль хай!*

Милиция меня пока не трогает.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Ошер Гиндин умер. Лучший наш минер и подрывник.

Когда мы с болот вернулись в пуцу, в наш лагерь, лес оказался заминирован после антипартизанской операции «Германн». Как выпас коровьими лепешками, немцы все загадили минами-лягушками. Так Ошер нас водил по-большому, как гусят: женщин направо от горелой, раздвоенной громадной сосны; мужской пол – налево.

Он до самой пенсии трудился взрывником, обеспечивал сырье для добычи асбеста. Раз в два-три месяца делают вскрышные работы и взрывают породу, чтобы грузить громадными экскаваторами на самосвалы, до верха колес которых мне не дотянуться.

Бурят сотни шурфов, закладывают аммонал, крепят детонаторы, тянут детонационные шнуры, километры их сходятся в одной точке – у главного взрывника, то есть у Гиндина. Мне повезло самому увидеть такой взрыв: Ошер отбил телеграмму в одно слово: «Приезжай» (текст у нас был давно условлен).

И вот мы с ним одни в карьере. Все кругом оцеплено солдатами. Проверено, перепроверено. Сирена. Можно взрывать.

Ошер заранее присмотрел мне укрытие: опущенный ковш экскаватора. Толщина ковша – как лобовая броня танка. Вхожу в ковш, не нагибаясь. Жду.

Гиндин отрезает метр бикфордова шнура, подсоединяет к узлу детонационных шнуров, чиркает спичкой и поджигает бикфордов шнур, да еще свою папиросу заку-

ривает, мне подмигивает. Скорость горения шнура – сантиметр в секунду. Метр – сто секунд. Спокойно идет к ковшу. Мы открываем рты – смягчить удар звуковой волны.

Не могу описать мгновение взрыва. Десять граммов тола достаточно, чтобы перебить рельс. А тут четыреста тонн! Будто земля присела – такое впечатление. И какое-то первосотворенное молчание.

Ошер Гиндин умолк.

Позвонил его сын Юрий Ошерович, главврач комбинатской поликлиники. Я сразу понял, что он скажет.

После инсульта Гиндина парализовало. Он еще год тянул. Просил сына дать какие-нибудь таблетки, чтоб не мучиться и никого не мучить.

Я летал к нему. Знал, что больше не увидимся.

Юрка встретил меня в аэропорту, прямо у самолета. Узнал. Наверное, по фотографиям. Я-то его, конечно, нет. Мальчишкой когда-то видел. Шашки ему подарил. Он как раз в школу пошел.

– Помните, как мы с вами в «Чапаева» бились?

Помню. Думал, он хочет в шашки сыграть, а он расставил белые и черные в два ряда и давай щелкать. А из меня какой стрелок? Один глаз слепой, другой – «минус девять».

Ошер все смеялся:

– Получил за тебя выговор от сына. «Пап, ты говорил: дядя Веня гроссмейстер, а он же совсем играть не умеет».

Я много чего не умею. Крыс ловить, например.

Одно время мы крыс боялись больше немцев и полицаев. Сильно кусали. Стыдно сказать, но однажды, когда я дневалил в бараке, подметал лапником пол, ночью вылезла откуда-то такая зверюга! Сунул ей лапник в морду. Она зубами вцепилась в еловую ветку, и я сбежал. Маузера с собой не было. А зарезать ножом эту тварь я не смог.

Другой раз прокусила мне нос, когда спал. Снится: течет и течет из носа, утираюсь и утираюсь. Проснулся – а крыса прямо на мне сидит и, честное слово, облизывается, и морда в моей крови.

Ихл-Михл обещал за десять хвостов килограмм муки и коробок спичек.

Жена сразу принялась за меня:

– Веня, неужели так трудно принести Куличнику десять хвостов, а в дом принести муку и спички?

– Ида, а вы видели эти хвосты живьем?

Не принес я тогда ничего. Десять спичек мне дал Берл из своей коробки и отломил кусочек циркалки.

Однажды я почему-то спросил его: «Берл, а Ихл-Михл умеет драться? Ну, как Джон Уэйн! Или как ты». Он покачал головой.

Что означал такой ответ, не знаю. Да и вопрос дурацкий. А ведь я был уже женат.

А сколько мне было лет, когда Берл Куличник взял меня за руку и привел в боксерский клуб? Лет четырнадцать, уже большой.

Берл меня хвалил. Технику я хорошо осваивал: стойку, движения корпуса, нырки, уходы. Особенно уход – и удар вразрез. Бил здорово в «лапы», по «груше», по мешку. Обязательно с двух рук. Без замаха, но кулак выстреливает, как кольт Ринго Кида. Удар мне Берл здорово поставил. Я даже на спор фанерное сиденье стула насквозь пробивал, обмотав кулак полотенцем. Хулиганы меня уже не задирали: боксер! Даже прозвище мне дали – «куля» (на польском, белорусском, украинском – «пуля»). Да я сам чувствовал себя, как револьвер с полным барабаном. Рвался на ринг.

И вот первый бой. Весь первый раунд молочу противника. А во втором пропускаю прямой правой, точно в нос. Искры из глаз бенгальским огнем и кровянка. Бой остановлен. Мне засчитано поражение. Второй бой. Опять получаю в нос. И третий! А что я могу поделаться? Не будешь же только бегать, нырять, уклоняться. Надо бить. Бью, но у этих харцеров деревянные носы.

Как привел меня Берл за ручку в боксерский клуб, так и отвел домой. Утешал, как мог.

– Куля, ты лучше в *шашкес* давай. Соображаешь, удар у тебя поставлен, кураж есть. Только не зарывайся. Удар – уход, удар – нырок, и вразрез. Главное, нос там не нужен.

На этом моя боксерская карьера кончилась. Три боя – три поражения. Абсолютный результат.

А как же т о т бой в лесу? Разве это тебе не победа? ! Нет, не победа. Спасение. А победа – совсем другое.

В одной школе, куда меня пригласили на Урок Победы, молоденькая учительница спросила: «А вы лично в

скольких героических боях участвовали? Сколько врагов убили?»

Что считать боем у партизан? Поджог конюшни? Взрыв склада, цистерны горючего, спиливание столбов, минирование рельсов, спасение детей, которых везли в Германию? Даже не знаю, в скольких боях я участвовал. А фрица нос к носу видел всего один раз. Нет, два.

Пасусь, жую кислицу с листьями-тройчатками и белыми цветочками. А пальцами выкапываю луковку сараны. Далеко отполз. Ищу папоротник, это спасение, особенно молодой, его выдергивать целиком и жевать, жевать, жевать. Лежа. Наклоняться – сразу падаешь, ноги подламываются. Вот и ползешь ужом.

Чу, шорох! Я и подумал: уж или жук-носорог. А это.. . Громадный, рыжий, в комбинезоне немецкого десантника. Я его никак целиком не огляжу. Оба взлетаем, как ракеты из ракетницы. Он за парабеллум, я прямой в голову и крюк левой. Нокаут!

Никогда не видел ничего подобного. А уж я боксерский болельщик со стажем. Видел все финальные бои на Олимпийских играх в Мельбурне, Риме, Москве.

После войны видел Николая Королева (он тоже в партизанах воевал), Шоцикаса, Ласло Паппа, Кассиуса Клея, когда тот еще не стал мусульманином. Жаль, что он не встретился на ринге с Агеевым. Я бы еще поспорил: кто в кого сумеет попасть? Великий Витя! Он был рожден наносить удары и уходить от ударов. Сейчас-то, конечно, Виктор Петрович – большой человек, президент Федерации профессионального бокса России. А был бы потрясающий бой: Кассиус Клей – Виктор Агеев. Но не сошлись; категории разные.

Подумаешь, категории! У тебя с немцем была еще и не такая разница в весе: откормленный тяж и доходяга. А драться пришлось.

Короче, удары я видел. Но чтоб свалить такого быка! Сел на жопу, пытается встать, но только пердит: ноги отнялись. Я не стал ждать, пока он очухается, и сзади ножом, как свинью, под лопатку. Ой он закричал! Все дохляки наши сразу сбежались. Изя великий охотник, Ошер Гиндин, Дора Большая, санитарка Дина, Эдик Дыскин, даже Берл.

– Чем ты его?

Берл поверить не мог, что я свалил парашютиста. Он и определил, что немца сбросили с самолета, хотя мы в небе никакого мотора не слышали. Значит, надо искать парашют и следы – может, он не один на нашу голову свалился.

Искали до вечера. Парашют нашли. Других чужих следов не обнаружили.

Все с немца поделили. Мне ремень с парабеллумом, складной десантный нож. Губную гармонику я случайно заметил: фриц зажал ее в кулачище. Играл, что ли? Я не слышал, пасся.

Гармонику я обменял у Идла Куличника на фляжку в брезентовом чехле с зеленой пуговкой со звездочкой – конечно, с самогоном, не пустую же. У Идла до войны был белый итальянский аккордеон. Ихл-Михл ему подарил. А он копил на «Вельт майстер». Вот и получил настоящий немецкий «Вельт майстер», только маленький, для партизана самый удобный.

Еще плитка сладкого прессованного кофе мне досталась. Вот тебе и кофе для Джузеппе. У Александра Еременко есть стихи:

*Дающих на чай
отличай
от дающих на кофе.
Дающий на чай
это делает все
невзначай.
Дающий на кофе
закончит свой путь
На Голгофе.
Но в роли солдата,
дающего с пики:
глотай.*

Прекрасные стихи. Есть над чем подумать хотя бы минуту молчания. И кстати (простите за нескромность), они посвящены... тут мощная музыкальная пауза, вдох-выдох и... да! Вы правильно подумали – гроссмейстеру Балабану.

А шоколад весь сожрал фриц, сволочь такая. И сало. Я целлофан от сала долго лизал, даже в котелке варил – для запаха, с корнями саранки и папоротником. Как грибной суп по вкусу получился. Хоть бы сухарик, галету оставил. Но зато сигареты ни одной не выкурил и получил я целую пачку немецкой «Примы».

Изе-охотнику достался парашют. Это он ведь отыскал его – по припухлости дерна и кучке земли возле муравейника. В тайнике была и складная лопатка. Сталь отличная, проволоку ею потом рубили. Парашют не могли целиком расстелить, места не хватило. Громадный, белый. И, оказывается, весь стропами прошит, в здоровенных рубцах, с железными дырками для строп. Даже трусы не выкроишь, одни носовые платки. Пять кусков шелка я отдал Иде, а один преподнес Доре Большой.

Сигареты разыграли в нашу партизанскую игру «бери-кури»: натянули стропу между березами, на нитках подвесили сигареты. Зажигалку немецкую я не отдал. Самоделку с трутом и огнивом берите, цепляйте.

Первому мне завязали глаза, крутанули – я и плюхнулся. Кругом гогочут, как гуси. Но все тоже шлепались. А Изя, черт, три сигареты срезал. Носом, что ли, курево чует?

Нож Изин я у него на складной десантный нож «шухнул»: настоящий охотничий тувинский нож в деревянных ножнах, обтянутых кожей налима; наборная ручка из бересты – в любой холод теплая, не студит ладонь; к ножнам сыромятью подвязан замшевый мешочек с медвежьим клыком. Потом стали делить сигареты. Пиня Бацких тут как тут. Но он и правда делить мастак. Только от яйца, что курочка снесла, отлить не научился. Его даже Вершигора в свой отряд звал. А дело было так...

Партизаны Ковпака расчищали Жид-озеро под свой аэродром для тяжелых «дугласов». И Сидору Артемьевичу понадобилось много людей не только чистить снег, но просто чтоб общим весом сложить сто тонн – проверить прочность льда. Вот тут и мы пригодились. Да и кому ж

расчищать лед на Жид-озе ре, как не жидам. Про то, почему его так называли, нам рассказал Колька Мудрый [Николай Махлин (1919 – 1943), погиб в бою.], отчаянный ковпаковский разведчик.

У нас был свой Пиня Мудрый – Пинхус Бацких, Бацилла. Жадина, но делить умел как никто. Допустим, спичка... Когда-то, после реформы 1961-го, коробок стоил одну копейку. Кстати, я так думаю: если на одну копейку нельзя ничего купить, хоть газировки стакан, ломтик хлеба в столовой – значит, тут и девальвация, и инфляция, и деньги просто нарисованные. Это самое ж главное: хлеб, вода, огонь. И за копейку!

А коробок спичек считался у нас богатством. Один раз у партизанских соседей наших огонь по неосторожности погас. Так прислали верхового и два фитиля у нас запалили. Ихл-Михл просил передать тому командиру полный спичечный коробок! Це был подарок!

Не в войну, а до войны я видел, как на хуторах бедные белорусы и литовцы делили спичку напополам. А Пиня Бацких мог из одной спички сделать четыре, и все у него зажигались. На *хануку* ребе Наумчик всегда звал его свечи зажигать – их же за весь праздник сорок четыре свечи надо зажечь. Как свечи делали и из чего, это Пиня тоже сам додумался. И свой секрет на что-то выменял у Кольки Мудрого. Колька рассказал своему ротному Карпо. А рота Карпенки была самая отчаянная у Ковпака. То ли одни евреи, то ли уголовники там собрались, но у всех ни имен, ни фамилий – только клички. Карпо, наверное, доложил Вершигоре – начальнику разведки, и Петр Петрович положил глаз на нашего Бациллу, ему такие хитрецы нужны были в разведку. Да и сам Вершигора начал службу в армии с того, что командир полка назначил его

интендантом. И с ходу дал ему задание: разделить бочку селедки на весь полк.

Помню, сколько селедок насчитал Вершигора и сколько бойцов в полку по списку было, но для точности сверюсь с его книгой «Люди с чистой совестью», заодно свою память проверю.

Да, 688 селедок разделить на 985 солдат. Иисус Христос, ясное дело, каждому бы дал по рыбине да еще по хлебу. А Вершигора стал резать и на весах взвешивать. Между прочим, самый глупый способ: кому достанется голова, кому – хвост, кому – сплошное рыбье мясо. Скандал обеспечен. Вершигору сразу разжаловали и назначили помкомвзвода. И правильно. Саша Зиберглейт (был такой старшина у Ковпака по хозяйственной части, полкоробка спичек мне подарил; у них же с Большой землей отлично была связь налажена, даже раненых в госпитали эвакуировали и жалованья чемодан денег доставлял начфин) так и сказал:

– Ай-яй-яй, как же можно так решать? Нужно было дать каждому по полселедки, потом добавить по голове или хвосту. И у вас еще осталось бы сто-двести порций резерва.

А мы что в конкретном случае имели? Селедок нет. А сигареты есть. Семнадцать. Я предложил так: одну мне, одну – моему командиру Берлу Куличнику, одну – командиру всего нашего отряда Ихлу-Михлу Куличнику, одну – Идлу. А то двум братьям достанется, а ему что курить, мизиниклу, как Ихл-Михл и Берл его называли.

Мой план дружно отвергли. И правильно. Какое-то подлизанство получилось.

– Ай-яй-яй, товарищ Балабан. Разве ж так можно? О себе вы подумали в первую очередь, это правильно. О жене вашей думать не надо – Идочка же не курит, и правильно поступает. Но в отряде есть же пани курцивки.

А то я без Пини не знал. Ида никогда не курила. Не выносила запаха табака и вина. А чем от меня всегда пахло? Совершенно верно: табаком, алкоголем, чужими женщинами. Она это знала. Это мне казалось: она ничего не замечает. А я был для нее как стекло. Только грязное. Мы были на вы пятьдесят два года. Если б на ты, давно разошлись бы. «Вы» все-таки смягчает столкновение характеров: искр, как в бенгальском огне, но дом не горит. И все равно без Иды чувствую себя погорельцем. Как она говорила, «актером погорелого театра».

Хорошо еще, шашкес (жена только так презрительно называла шашки на идише) ничем не пахли. Как это ничем, гроссмейстер? Вот шахматисты пахнут сигарами, мужским одеколоном «Шипр», обжаренными зернами кофе. Они же аристократы. Останавливаются в дорогих отелях. А мы в дешевых номерах, в доме колхозника, у доброй самаритянки. Шашки пахнут табаком, пивом, портвейном, водкой, селедкой, женской пудрой. Чего уж тут врать. Зато в них нет такой подлости, как в шахматах. У нас чемпионов по доносам не расстреливали, как Петра Измайлова, первого чемпиона России. Звания мастеров не отнимали; присваивали, так уж пожизненно. У Измайлова сперва (после доноса) звание отняли, потом и жизнь, но Петр Николаевич все равно навсегда останется победителем Ботвинника, сыграв с Михаилом Моисеевичем две партии и обе выиграв (1921, 1931). А Ботвинник уже никогда не выиграет у Измайлова.

В отряде было восемь курцивок: главврач Дора Соломоновна и Дора Большая (любимица всех мужчин и кость в горле всех женщин, особенно замужних), санитарка Дина, Фарон 1-я, Фарон 2-я, Магазанник (имя ее я никогда не знал), Геля Бацких (сестра Пини) и Ривка Шафран, второй номер у нашего единственного «станкача», станкового пулемета. Между прочим, она стала первым номером после смерти своего мужа Ионы Шафрана, нашего геройского пулеметчика.

Они со своим пулеметом пришли из отряда «Беспощадного». Был такой... Не знаю, как он отдал «станкач» из отряда! Но характеристику Ионе дал хорошую, ее Ихл-Михл после утренней молитвы зачитал, когда представил нашему отряду пополнение: муж и жена Шафран, пулемет (тяжеленный) и десять тысяч патронов! Это они все зимой тащили на себе несколько недель, пока лагерь Куличника не отыскали.

Итак, характеристика.

«Иона Шмульевич Шафран, 1900 г. р., место рождения Черновцы. Чл. ВКП(б) с 1924 г., еврей, воинское звание: младший лейтенант, командир взвода. В отряд прибыл с охотничьим ружьем-двустволкой. Участвовал в одиннадцати боях. Лично уничтожил пулеметным огнем более сорока фашистов и их приспешников. В составе группы (потом выяснилось: группа – это он и Ривка) уничтожил поезд противника, а также шесть километров связи. Морально выдержан и политически устойчивый. Делу партии Ленина – Сталина предан до последней капли крови».

Не в бою ранило Иону Шафрана, а когда бомбили нас. А он в тот день пас кобылу Голду. Она в лагерь самостоятельно вернулась, его же не могли найти ни среди

живых, ни среди мертвых. Изя-охотник отыскал его на другой день по каплям крови на иголках хвои. Можно сказать, неживого. Руки и ноги оторвало.

Изя и спросил: «Может, тебя лучше застрелить?» Но Иона не согласился: «Ривка меня выходит. Ты меня только дотащи. Чую, я теперь совсем легкий».

Принес его Изя в свертке. Хирург Цесарский всего кругом зашил его парашютными нитками. А Ривка крутила ему завертку, раскуривала и затягиваться вкладывала. Он не ел, не пил, только курил.

Как же не отделить Ривке сигарет еще и на мужа?

Сколько всего получается? Восемь женщин плюс Иона Шафран, итого девять. Сигарет семнадцать.

– Веня, соображаешь? – подначивает Бацких.

– А то я, Пиня, девять на два не умножу. Будет по две сигареты каждой курящей партизанке в Международный женский день. И по цветочку. Цветочки сам соберу.

Так вместо того чтобы сигарету получить, пришлось еще от себя добавить. Хотя чего не сделаешь ради женщин.

Но главным в парашютисте были невиданные сапоги желтой кожи, подметки кожаные, каблуки наборные, дубовыми квадратными гвоздиками подбитые. Голенища – прочнейший брезент песочного цвета, ушки кожаные (целые уши, а не ушки!), задники-запятки. Сказочные сапоги. Но Берл засомневался, отдавать ли мне их:

– Куля, ты же утонешь в них. Они тебе на четыре размера больше.

– Ничего, наверчу все портянки.

Бой это был или не бой, любознательная учительница? Ясно, что не героический. Ну, извини.

Вот и Берл никак не мог поверить, хотя сам же ставил мне удар, когда я был мальчишкой. Маэстро Ненни – голос, он – удар. Прямой, свинг, кросс, джеб, крюк (Берлу почему-то больше нравилось французское название крюка – «кроше»).

– Прежде всего ноги – упор! Движение от плеча, как поршень в цилиндре, всем корпусом, без замаха, мгновенно, помни: в кулаке у тебя – граната.

Сила равняется величине, где масса умножена на скорость.

Ихл-Михл это лучше всех понимал. Перегонял нас, как пастух стадо. Конечно, мы мерзли, голодали. Только склотишь барак, обживешь землянку или шалаш, горн трубит: подъем, тревога!

Вот и фашист на жопу сел и не верил. Выпучился на кулак. Наверное, тоже гадал, чем я его ударил. А где в хилом сыром лесочке даже булыжник найти? Это Моисей камнем ударил египтянина, избивавшего еврея-раба, так то было на ударной стройке фараона, там камни повсюду.

Нет, и Моисей убил египтянина не камнем, а кулаком, он был громадной силы. Еще сильнее, чем Ошер Гиндин.

У Гиндиных была корова. У многих чярнухинцев были коровы, но у них самая дойная. И забрела эта Бунька к кому-то в огород, все потоптала, и тот хозяин кипятком

ошпарил ей бок. Ошер обиделся и сгоряча дал обидчику ладонью в лоб так, что всю кожу с волосами задрал на затылок, скальп снял. Ничего, в больнице пришили, не скажу, чтоб красиво. Зато прозвище получил – Латаный. Он потом полицаем в Чярнухах лютовал. После войны отсидел шесть лет, вернулся. Сперва могилы копал, потом устроился в похоронную контору, к дружку своему – Меньяйло. Вот он и орал на меня.

Как я позволил полицаю орать на себя, когда хоронили папу?

Что-то случилось с моей душой после войны. Что? Вот и ответ. Ты же во всем любишь точность. Что? Наверное, после Крыма. Захотелось увидеть море. Я же только на картинах Айвазовского видел море. А великий маринист жил в Феодосии. И наша партизанка Ривка Шафран там жила. Ее муж Иона много рассказывал про Феодосию: и виноград у него свой, и вино, грецкие орехи, инжир, абрикосы, роза под окном, как дерево.

Вот я и поехал. Оказалось, нема по указанному адресу «никакого Шафрана». Съехали все Рабиновичи в 1949-м «далеко от Москвы» и еще дальше от Крыма (видимо, в рамках борьбы с «безродными космополитами»), и стал Крым *judenrein* – очищенным от евреев. Даже немцам и румынам за два с половиной года оккупации такое не удалось. Вот тогда моя душа дала осечку.

О, как прилежно наш сын Шимон учил *кашес* – вопросы к пасхальному *седеру*. В эту ночь дети спрашивают отцов. Можно спрашивать и на идише, но лучше на древнем языке, на котором евреи спрашивали Моисея:

– Чем эта ночь отличается от всех других ночей?

– Во все другие ночи мы едим всякую зелень, а в эту ночь только горькую.

Горечи было много, еще дикий лук, два крошечных кислых яблочка, два буряка и *кнейделах* – галушки из толченой мацы, похожей на манку, в бульоне. Ида приготовила *эссик-флейш* – в кисло-сладкой подливке из чернослива и любимое мое лакомство: *айнгемахц* – редьку, вареную в меду. Седер 1943-го пришелся на 19 апреля. С чего я взял? С того, что у одного человека, спасшегося из Орши, оказался еврейский календарь. Вот с чего радоваться надо, а жена моя плачет: что за *эссик-флейш* – без мяса, что за *кнейделах* – без куриного бульона, что за *айнгемахц* – без меда?!

Жена моя, великий праздник сегодня!

«Чем отличается эта ночь от всех остальных ночей?» Тем, что мы больше не рабы. Мы не рабы. Мы свободные. Пусть без серебряного *кидуша*, без праздничной посуды, без горькой травы *марор* (горечи в нас самих больше, чем надо), без меда, без жареной куриной ножки. И картофельный кугель без шкварок. Пусть. Без всего еврей может праздновать Исход. Даже без раввина, без синагоги – ничего этого не было в пустыне, только бесконечный выход из окружения, только горечь, война, ненависть, плач, только Всевышний и Моисей, вера, чудо и сами евреи. И все это замешано в тесте без квасного и соли, прожарилось на жарком огне и стало *мацой* – святым хлебом Израиля.

Мацу в Чярнухах пек Копылович: и до войны, и в войну (в нашем партизанском отряде), и после войны. Да, даже после. Копил муку целый год: пшеничную, гречневую, ржаную. Какая есть. Муку же не продавали. Выда-

вали к праздникам. Дали талон с печатью, и стой в очереди всю ночь, пока не отоваришь. Ладно, муку Копылович достал. А дрова? Они же тоже по талонам. Талон – на человека. Один талон – один кубометр. Иди с талонами на берег Глыбени, там дровяной склад. Там горы бревен, мальчишки скачут, того гляди расшибутся, скрипят телеги, фыркают лошади, на каждой телеге железная клеть-кубометр, куда наталкивают метровые бревна берез и осин (сосну гонят в Донбасс на крепеж или на шпалопропиточный завод в Осиновичах), развозят по дворам, а сзади обязательно цепляются мальчишки на коньках-снегурках, прикрученных веревками к валенкам. И сразу, как по щучьему велению, приходят бородатые мужчины, у одного за поясом топор, у другого обвязанная холстом пила – пильщики. Распилили, накололи дрова Копыловичу. Пеки, Копылович, да смотри, чтоб никто не подглядел, не донес.

Пробовал я эту мацу. Огромные, толстые, твердые листы, пробитые крупными точками.

Кто-то все-таки не утерпел, донес. Вызвали в райотдел госбезопасности – как раз в 51-м, когда в самом КГБ раскрыли «сионистский заговор». О чем его спрашивали, Копылович не говорил. Но печь мацу перестал. Вообще печь перестал – руки тряслись. И говорить перестал – язык трясся. Весь трясся.

Не знаю, как он оказался в Москве, но я его встретил у синагоги. Стоит под дождем в брезентовом балахоне. И многие его знают. Подают, даже по фамилии называют. Оказывается (это мне рассказали потом), приглашали даже за праздничный стол в синагоге. Но однажды он испортил весь седер. Когда евреи вышли из-за столов перекурить, старик кинулся собирать с пола кусочки ма-

цы, пихал в рот. Кто-то пожалел его: «Что вы берете с пола? Возьмите целую, ешьте!»

А он все ползал, собирал, целовал каждую крупиночку, пока его силой не выволокли. И больше не звали.

Долгим у нас получился Исход. Из тех, которые с первого дня Исхода шли за Моисеем, реку Иордан перешли только Иегошуа Бин-Нун и Калев, два разведчика. Двое из шестисот тысяч мужчин.

Один писатель, знакомый по шашкам, как-то пригласил меня в Дом литераторов на моноспектакль «Исход» – это когда один актер играет за все.

Два часа я не шелохнулся. После спектакля ни аплодисментов, ни цветов. Так, три хлопочка. Оглянулся назад: зал пустой. Мы с моим знакомым, еще три еврея и поэт Андрей Вознесенский. И он говорит моему другу:

– А красиво, когда зал пустой.

А у меня гусиная кожа. Представил, как Моисей оглянулся, а за ним – не шестьсот тысяч, а всего шестеро. И где бы сейчас мы были? В Красной книге? В музее, рядом с плачущим большевиком? В зоопарке? И там бы нас не было. Даже ржавой таблички.

И все равно четыре пятых евреев-рабов остались в Египте! Испугались бежать.

Помню, летел в Якутск судить соревнования. Застряли в Тикси. Там тоже нашлись шашисты-полярники, а у них – спирт под вкуснейшую строганину.

И показали мне женщину в драной малице, сидевшую на снегу возле пельменной. Оказалось, последняя камусинка. Последняя от всего маленького народа. Дотлевала искоркой на снегу.

А может, я зря полюбил шашки? Ведь вся жизнь прошла между ходами. В прямом и переносном смысле. А?

О, эта еврейская привычка отвечать вопросом на вопрос. Но сами посудите: что можно утверждать в нашем бесконечно малом мире? В прямом и переносном смысле.

Быть или не быть? Загазуют – не загазуют? Ехать – не ехать? В смысле в Израиль. Это вопрос! Посложнее гипотезы Пуанкаре (1904 г.): «Любая односвязная трехмерная поверхность гомеоморфна трехмерной сфере». Проще говоря: если апельсин обмотать резиновой лентой, то, стягивая резиновую ленту, сферу можно сжать в точку. А если резиновой лентой обмотать бублик и проделать то же действие – или лента разорвется, или бублик. Эту головоломку математики называли «задачей тысячелетия». Весь XX век били-били – не разбили. Поддалась она Григорию Перельману из Купчино, сотруднику санкт-петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова. Еще повезло Перельману, что поздно родился, а то бы попробовал он туда сунуться, когда директором «стекловки» был злющий антисемит Иван Матвеевич Виноградов. Однажды академик Лаврентьев пришел в Институт Стеклова, а Виноградов, погоняв его во-

круг громадного стола, поймал и, выламывая пальцы вице-президенту АН СССР, приговаривал: «Будешь брат евреев? Будешь?!»

Вот от чего, бывает, зависит иногда решение сложнейших и важнейших для человечества задач: *будешь брат евреев или не будешь.*

Я и сам когда-то пытался найти решение гипотезы Пуанкаре, где-то должно остаться. Но пришлось делать расчеты для генерал-полковника-инженера Василия Гавриловича Грабина. Может, он единственный носил такое звание.

Великую задачу решил Перельман.

Теперь решает: брат премию в миллион долларов или не брат? Несколько лет думает. А решение его (я про гипотезу) может иметь самые невообразимые последствия, приблизит к пониманию, как изменяется форма при изменении пространства и времени. Мне самому приходилось не раз сжиматься до точки. А будь я бубликом, я бы давно разорвался. Но не разорвался. Не разбился.

Теперь к вопросу: ехать – не ехать?

Хорошо на него ответил генерал Бар-Лев, когда его пригласили на встречу с евреями-фронтовиками. Он тогда был израильским послом в Москве. Рассказывают ему с трибуны, что теперь в России нет антисемитизма, выходят еврейские газеты, строят синагоги, открылись *для наших* школы и детские садики, отпраздновали пурим прямо в Кремле. А он встал из президиума и хорошим командирским голосом, чтоб и дураку было слышно:

– Слушаю я вас и не пойму. Зачем вам все это здесь? Разве нет Израиля? Бросьте все и мотайте отсюда.

Не долго генерал Бар-Лев пробыл послом. Неважным оказался дипломатом. Но главное, по-моему, успел сказать.

Наша дочь так и сделала, как он советовал. Идочку она уже там родила, в роддоме с видом из окна на Средиземное море. Умница!

Юра Гиндин зимой приезжал в Москву на конгресс пульмонологов. Привез папку с тиснением «Участнику слета пар ти зан-под рыв ни ков. Киев. 1985». А внутри еще папка, обычное «Дело»: грамоты, газеты, письма, заявления, стихи (по че му-то на миллиметровой бумаге, читать мне с моими глазами нельзя, сразу приступ начинается) и большой конверт, хорошо заклеенный.

Долго искал, чем аккуратно вскрыть. Все равно порвал. И та же миллиметровка, только метр на метр, когда всю площадь развернул – аккуратными черными чернилами крупно: «ЕВРЕИ, ВЫ ДУРАКИ».

Ошер, ой как ты прав. Только жаль, что посмертно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Дураком частенько бывал и я.

На первенстве профсоюзов (1967 г.) в финале против меня играл Гордин из Йошкар-Олы. Партия отложена с его преимуществом. Стараюсь не думать о поражении. И вижу во сне комбинацию на выигрыш.

Наутро я проиграл, потому что рассчитывал на сильную контригру, а Гордон делал дурацкие ходы. Я чуть с ума не сошел от обиды. Лучше б мне достался Яков Гордин, как в 33-м на первенстве Бобруйска. Я тогда первый раз стал чемпионом среди взрослых. А ведь в Бобруйске жили великие люди.

Но Якова Гордина убили немцы. Хотя он не делал слабых ходов.

Очень важный момент: можно проиграть, делая даже гениальные ходы.

Всегда начинаешь ты. Потому что первый ход делает человек – он рождается. Бывает, это его самый сильный ход. Иногда – самый слабый. А судьба всегда играет черными.

Вы хорошо представляете себе шашечницу? Все шестьдесят четыре клетки? Во-первых, надо расположить доску правильно: нижнее угловое поле должно быть темным, а не светлым. Легенду, конечно, знаете, какую мудрец попросил награду: за первую клеточку шашечницы одно зернышко риса, за вторую – два... за каждую следующую – вдвое больше. Прогрессия. Оказалось, за 64-е поле доски надо отдать гору риса. Но мало кто знает, чем

закончилась эта история. Бывает, мы знаем лишь одну половину чего-то, чаще первую – она ближе. Я много лет собираю «усохшие» пословицы и поговорки, ну, от которых первая часть осталась, а вторая забылась. Например: «Пьяному море по колено, а лужа по уши»; «Свой глаз – алмаз, а чужой – стекло»; «Ума палата, да ключ потерян». А жемчужина моего собрания: «Подвел под монастырь срать». Про усохшие пословицы я впервые узнал от Михаила Леоновича Гаспарова. А легенду про мудреца, придумавшего шахматы, услышал от Дмитрия Ивановича Лонго, первого и единственного российского факира.

Теперь про шахматы. Магараджа отдал все сокровища, все дворцы, но всех богатств его не хватило. И пожалел магараджу бог Ганеша, покровитель купцов, странников и ученых людей. Индусы изображают его в виде толстунчика с четырьмя пухлыми ручками и головой слона.

– Мудрец, ты придумал великую игру. Может, сыграешь со мной?

Мастер начал игру. Ход белых. Ход черных. Все меньше фигур на доске, у белых – король и ферзь. У черных – один король. Шах! А отступить некуда. Как нам в лесу: отступить некуда, а наступать незачем. Мат! Но король делает ход. Куда?! Все же поля под боем. На 65-е поле, ведомое только богам.

В память о той, самой первой партии одну из фигурок и назвали «слоном». Ихл-Михл тоже знал про ту невидимую клетку шахматной доски. Иначе бы мы не спаслись. По-моему, его мозг составляли даже не клетки, а ходы. А я полвека положил на то, чтоб доказать обреченность второго хода белых: ed4 (1. gh4 ba5). Вроде хорошее начало, но обреченное, гибельное! И спасения нет.

Ход на d4 – конец. *Endl'osung*. Окончательное решение. Лучшие шашисты пытались найти опровержение, но его нет. При любом развитии событий. Я совершил это открытие, но оно никому не нужно. Ни на том свете, ни на этом.

А Куличник плел только беспроигрышные комбинации. Три года. Вслепую. А я, старый дуралей, пытаюсь понять его ходы. И не понимаю.

Вот его фотокарточка – крохотная, тусклая, хорошо виден только окурок. Ихл-Михл всегда дымил и думал. Выпучит глаза, зрачки пульсируют, губы жирные, как после сала, и всегда во рту курево: козья ножка, самокрутка, сигарета.

А когда я первый раз увидел его на танцах в бывшей синагоге, где Ихл-Михл пригласил маму, он был жгучим красавцем. Настоящий испанец и пробор в черной брильянтиновой прическе. Мастер со Старого рынка, у которого мы стриглись всей семьей, только презрительно чесал усики длинным ногтем мизинца, когда упоминали Ихла-Михла: «Фик-фок на один бок».

У мамы талия как букет. Голубое платье без рукавов перехвачено синим бархатным пояском. Голубое, и вышито синим.

Идл еще не положил пальцы на клавиатуру белого аккордеона, а танец уже начался. Танго. Название не помню, но настоящее, смертельное.

Все ждали. И мама ждала, я чувствовал. И вот Куличник цокает по каменному полу прямо к ней – стальная набойка вокруг всего каблука, чтоб щелкать и в танце поворот быстрее. Редкая женщина после такого танго не изменит мужу.

Я однажды видел такое танго. Под знойным небом Аргентины, в Буэнос-Айресе. Понятно, я был там не на конкурсе латиноамериканских танцев, а на турнире по «бразильским шашкам». Иду ослепительным днем по широченному тротуару; улицу перейти невозможно: она невероятной ширины, машины гонят, не останавливаясь. И вдруг один лимузин – кожаный верх откинут, магнитола рвет душу оглушительным танго – мчит поперек сумасшедшей гонки и, честное слово, так тормозит, как будто взорвалась. Дверцы нараспашку, вылетают он и она, бросаются друг на друга, как враги, и схватываются, изнемогают в танго.

Чярнухи, конечно, не Буэнос-Айрес. Но что-то смертельное в том танце было. Я почему-то очень боялся за маму, но хотел, чтобы танец никогда не кончался.

Командир редко выходил из штабного блиндажа. Сядет на скамейку для часового и разгоняет рукой не то мошкару, не то дым, не то мысли. Бритый. Всех, даже женщин стригли «под ноль». Спасали от вшей.

Какой вавилонский плач начался! Если б не Берл, Идл и автоматчики охраны, женщины вполне растерзали бы Куличника. Тогда он приказал собрать старших от каждой семьи. Шофара [Рог барана или козла, чтобы трубить в него.] у нас не было. Да сколько помню, и в синагоге никогда не трубили в шофар. Может быть, его вообще в Чярнухах не было. Поэтому ребе Наумчик затрубил в пионерский горн, и неплохо вышло. Прямо линейка в пионерском лагере. А Ихл-Михл сидит на пне, как Наполеон на барабане, и дымит самокруткой.

Собрались.

Не помню слово в слово, что командир тогда сказал. Но это был приказ. По памяти примерно такой:

– Евреи, запомните: вы – евреи! Это первое. Два: наши противники – грязь, сырость, холод, отсутствие продовольствия; отдельный враг – вши, крысы, чесотка. Три: у каждого должно быть оружие, хотя бы холодное, плюс кружка, ложка и лопаточка закапывать дерьмо за собой. Хвойный настой пить всем обязательно. Детям еще по ложке конского жира, пока не добудем рыбьего и витаминов. Кроме этих врагов, а также фашистско-немецких захватчиков и их пособников, еще нам враги все, кто нас хочет убить. А евреев, если кто не допонял, ненавидят все, всюду, всегда. Ребе, что записано про это в Талмуде? Боюсь напутать.

Раввин Наумчик вздохнул, как будто ворочал здоровенные камни.

– В Талмуде сказано: кто решился убить другого, должен быть убит еще раньше. Только не спешите делать непоправимое. Это я уже от себя вас прошу.

– Ребе прав. Много о противнике не думайте, на то есть штаб и командиры. А чтоб легче думалось про другое необходимое, всем остричься для личной гигиены. Парики тоже уничтожить.

А был у нас поначалу инструктор райкома партии Шитво, он показал два схрона, заложенные для партизан; жаль, их кто-то до нас обнаружил. Но сами склады оказались настоящие блиндажи, их приспособили под штаб, а вокруг нарыли землянок. Леса было много, но доски пилить – пилорама нужна, а ее в лес не унесешь.

Вышел сегодня утром в магазин, на улице парень предложил купить новую бензопилу по дешевке. Эх, парень, нам бы тогда такую, чего бы за нее тогда не отдали!

Так вот, Шитво (его было велено называть «товарищ Лесняк») прекратил женский гвалт.

– Отставить, Куличник! Не разводить синагогу. Задачи народных мстителей четко определены в речи товарища Сталина. Довожу до личного состава.

Товарищ Лесняк косит глазами, словно ищет графин с водой, и раскладывает офицерский планшет. Под целлулоидом вместо карты – бумага. Он громко зачитывает ее. Куличник кивком ставит точку на каждом предложении.

– Так и я, товарищ Лесняк, ту же линию направляю: «Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников и уничтожать их на каждом шагу».

Куда он потом подевался – Шитво? Крупный мужчина, даже не успел оголодать... Надо же, не помню. А вот Ковпак Сидор Артемьевич на всю жизнь запечатлен. Словно расплавленный чугун опрокинули из литейного ковша в изложницу, он и застыл.

Первый раз увидел его, когда расчищали Жид-озеро под партизанский аэродром.

А нам самим хотелось увидеть Ковпака. Какой он такой, первый партизанский генерал, Герой Золотой Звезды (еще не дважды). Старых и раненых поглядеть на него несли, как детей, на закорках. Повозок-то не было. Шесть лошадей и четыре повозки – это уж потом от него

получили в подарок. Наши обступили Сидора Артемьевича, козух его гладили, целовали, как мезузу, которая хранит еврейский дом. Так сразу его все признали, как передать не могу. Никогда не видел, чтоб наши кого так сразу полюбили.

А Ковпаку тогда было лет пятьдесят пять. Папаха с красным лоскутом, как у всех партизан, немного похож на Чапаева, но интеллигентней, что ли, или хитрее, бородка клинышком, под носом усы квадратиком. И переднего зуба с одной стороны нет, как у мальчишки. Щурится – то ли от махорки своей, то ли от думы. Вот в чем похожи они с Куличником, это – изо рта табак не вынимают и непрерывная дума.

Ходили слухи, что Ковпак – из табора. Немцы поначалу объявили его кадровым командиром, попавшим в окружение. А бандера всякая почему-то считали его цыганом. А он настоящий украинец. В Первую мировую еще воевал, два «Георгия» заслужил за разведку. В Гражданскую воевал – в Чапаевской дивизии и с Пархоменко. Тогда-то он мне старым казался, все называли его Дедом. Да и сейчас, хоть я теперь много старше его, Ковпак все равно для меня Дед. И вот странно: будто это он, а не Ихл-Михл, спас и вывел нас от гибели. Все помню, все понимаю, а сердцем благодарности к Куличнику у меня нет.

До войны Ковпак был в Путивле советской властью. А когда немцы на танках прямо в памятник Ленину перед гор исполкомом затархтели, он ушел в лес со своими «панфиловцами». Были такие героические бойцы, обороняли Москву. Это им политрук сказал: «Велика Россия, а отступать некуда». Вот и нам отступать было некуда. Так и пробыли чуть не три года в окружении.

Нам Колька Мудрый много рассказывал про Ковпака. Прежде всего, конечно, что Дед принимает в отряд евреев. В лесу евреев многие командиры, не разбираясь, стреляли.

– А я кто, по-вашему? Да что говорить... Сколько раз каратели прут – все, хана, а Дед завернет козью ногу, а самосад у него страшнейший, курнет и говорит: «А зробимо ми, хлопці, ось так...» И ни разу промашки не дал.

Колька, говорили, у Ковпака любимым разведчиком был. Да у них вся рота разведки лихая, начиная с Карпо. Он и назвал Кольку «Мудрым». Потом, как я узнал, их посмертно наградили. Да и при жизни многие ковпаковцы ходили с орденами и медалями. Я хорошо разглядел, когда лед чистили на Жид-озере под грузовой «дуглас». А нам за всю войну ни одной награды Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко [*Пономаренко П. К. (1902 – 1984). В 1938 – 1947 гг. первый секретарь ЦК компартии Белоруссии, с 1942 г. начальник Центрального штаба партизанского движения.*] не отделил. Хотя бы командиру нашему. Его Ковпак уважал. Особенно после того, как мы вместе отбили у немцев Ровно – столицу Волыни.

С трех сторон наступали: со стороны Здолбунова штурмовая бригада полковника Моисея Бараша пробивалась, ковпаковцы и отряд имени Ворошилова – с Вокзальной улицы, а наш отряд – по Новой.

Мы освободили город мертвых.

Когда раввин Наумчик в разрушенной синагоге затрубил в горн, никто из евреев Ровно побудку ту не услышал.

А жив ли сейчас кто из наших, кроме Аббы Туркенича и меня, бравших Ровно в феврале 44-го?

Мы с Туркеничем переписываемся чуть не полвека: он же с 47-го в Израиле. А в Ровно его, хлопчика, призвали в Красную Армию, и опять ему повезло – воевал в 16-й Литовской дивизии, где чуть не все говорили на идише. Ну, и в Израиле вдоволь навоевался. Его фотография во всех еврейских энциклопедиях и учебниках. В смысле исторического значения изображенного факта: десантники полковника Мордехая Гура с ожесточенными боями пробивались к Стене Плача; комбат Гур докладывает по радиации: «Мы взяли Храмовую гору!» А чумазый Туркенич в каске прикрывает комбата. И стрелочку нарисовал в фотографии, боялся, что я не узнаю его.

То был великий день Израиля! И возвестил его в шофар военный раввин Шломо Горен, вострубивший у Стены Плача, куда евреи не могли даже приблизиться десятки лет. Стена томилась в плену.

Эх, Левитан, Левитан! Вот откуда бы, Юрий Борисович, тебе вести репортаж 7 июня 1967 года: «Внимание, внимание! Говорит Иерусалим. Работают все радиостанции. После ожесточенных кровопролитных боев наши войска овладели Храмовой горой и вышли к Стене Плача!»

Я был там. Абба Туркенич привел меня к Стене Плача. Храню бумажную кипу, такие дают всем, у кого своей нет на голове.

Все щели между громадными блоками забиты записками, автобусный билет не втиснешь.

А что мне просить у Бога? В голову ничего не лезло. Почему после второго хода ed4 белые обречены? Неужели нет выхода?

Говорят, Эйнштейну за заслуги перед человечеством Всевышний обещал исполнить одно желание. Эйнштейн попросил: «Хочу знать формулу мироздания».

Господь исчеркал мелом всю доску. Эйнштейн подумал и ткнул в уравнение: «Господи, но здесь же ошибка!» – «Знаю», – грустно ответил Господь.

А мне за какие заслуги Всевышний решит задачу? Мало Ему забот, так еще в шашки играть. Извините.

Но мои часы швейцарские остановились. Подарок шашечной федерации к 70-летию.

Отошли мы с Туркеничем от Стены, вижу – стоят. А обещали, их ничто не берет: водонепроницаемые, противоударные, никакие излучения, даже прямое попадание снаряда не остановит ход.

Нескольким часовщикам показывал. Разбирали, собирали, плечами пожимали: исправны, а не идут. Только один, когда я сказал, что приложил ладони к камням Стены Плача, сказал: «Тогда все понятно». А что понятно, не объяснил.

А вот куда после Ровно делся Ихл-Михл Куличник – это вопрос.

Прямо с парада и демонстрации по случаю освобождения столицы Волыни, соблюдая построение, Куличник увел остаток отряда (меньше семидесяти бойцов) по Киевскому шоссе в направлении Сосенок.

А мы же тогда еще ничего не знали. Шагали молча. И все почему-то быстрее, в леске почти бегом, придерживая личное оружие... И я увидел долину костей и черепов, горы костей и праха, кострища с обгорелыми детскими черепами, куклами, игрушками, сандаликами.

Тут были уже партизаны отряда имени Ворошилова и саперы полковника Моисея Бараша, не меньше роты, много офицеров. И грузовик с лопатами.

Воскресенье было. Солнечно. Весна. А мы плакали, плакали, плакали... Дора Большая упала без сознания.

Кто умел читать кадиш, тот громко читал. А мы копали, копали, копали... Но как похоронить целый город? Его только землей всей Земли укрыть.

Сколько я потом местечек прошел. Сожженных. Исчезнувших. Только в мостовых камнях остались. Шаркал по этим камням в исполком, в гостиницу, гастроном, клуб, на почту, к кому-нибудь в гости. И мне в голову не приходило: здесь же сотни лет жили евреи, здесь такие светочи веры молились, такие праведники и мудрецы вязали и развязывали узлы еврейских судеб. Я шел по этим камням за портвейном, а евреи шли по тем камням за смертью. И камням за них было страшно, они вместо людей просили у евреев прощение за то, что не смогли их укрыть, защитить, спасти. А я шел себе... А должен был встать на колени, целовать, гладить их, отогреть их за пазухой. Они же заоченели. Грязь? Это кровь смешалась с ледяным потом тех, кого гнали в рвы. Это последние хрипы, клетотания запеклись, как кровь под ногтями. Каменные лбы все хранят: имена, молитвы, проклятья и — пыльцу, тычинки и пестики, семена всех цветов Европы, которые принесли на своих подошвах евреи, особенно детские сандалики, гонявшиеся за бабочками. Эти цветы

когда-нибудь обязательно расцветут, украсят, укроют, утешат скорбящие камни.

Потом мысли обрываются.

Дыскин, Туркенич, еще некоторые наши ветераны утверждают, что Ихл-Михл вернулся на партизанскую базу в Глыбенской пуще. Но когда Красная Армия освободила Чярнухи, он там не объявился. И братья тоже: Берл погиб под Клайпедой, Идл дошел до Берлина, погиб уже после Победы, при разминировании.

А про нашего командира всякое говорили: пробрался в Польшу, оттуда в Канаду.

К счастью, никто не болтал, что Куличник ранен или, упаси Боже, убит. Никому ничего не известно. Родственники Куличников все (что правда) подались в Польшу, оттуда кто в Израиль, кто в Америку.

А Ихл-Михл так и делся неизвестно куда. Хоть объявления расклеивай, как немцы, обещавшие за его голову, живую или мертвую, 75 тысяч. Громадные деньги. За Федорова Черниговского обещали 50 тысяч, но плюс 50 гектаров земли, еще рома или водки, сколько доносчик унесет, а главное – соль. За отчаянного командира Попудренко (ему памятник стоит в Чернигове) – 30 тысяч. Средний комсостав у фашистов шел по 10 тысяч, рядовой партизан – за 5 тысяч (нет, в разной местности по-разному: где пять, где три, где одна тысяча), но тоже: соль, спички, керосин, колбаса в консерве. За просто еврея – пачку соли. Тоже немало. За всех нас дали бы ровно двенадцать пудов: по списку личного состава нас было 192 человека.

Помню, как-то проезжал я на поезде мимо станции «Партизаны» (случайно глянул в окно). А для исторической справедливости надо бы соседнюю станцию назвать «Полицаи». Вот из-за них тогда мы и паслись на подножном корму.

Почувствовал себя будто прожившим жизнь «до н. э.». Среди питекантропов, мамонтов, динозавров.

А соседу не понять, как можно жить без интернета. Рвется обучить меня за час: «Вы же эшелоны под откос пускали, а тут всего две кнопки и мышшь».

Не знаю, кто ему такое наплел про мое героическое прошлое. Я на термитных спичках чуть не подорвался, до сих пор рубец от ожога: хлопнул по карману, а они враз полыхнули. Вот тебе и эшелон.

Древние наши мудрецы придумали такое объяснение, как возникло зло: Всевышний создал мир идеальным, а потом взял все его части и перемешал – и получился пазл-мазл. Задача человека: собрать части, расставить все по своим местам.

Я этим, в сущности, и занимаюсь. Но почему мудрецы наши, уж если они до такого додумались, не собрали мир как положено?

А этот осколочек фарфора... осторожно, пинцетом... откуда? Не из букета. Похоже на кусочек помпона. Три алых помпона на белой блузке Паяца с воротником-жабо, в крупных оборках. И бант.

Маэстро Ненни тоже всегда повязывал черный бархатный бант. Сорочка обязательно белая; темно-синий жилет с четырьмя рядами перламутровых пуговиц, похоже на аккордеон; пиджак – никогда, хотя портной Майзель шил ему полный мужской костюм.

Вчера в который раз перечитывал книгу Петра Вершигоры «Люди с чистой совестью». Хорошее название.

Читал, как они задумали и провели операцию «Сарненский крест» – шедевр партизанской тактики.

Сарны в войну стали важным железнодорожным узлом двух направлений: Барановичи – Ровно (север – юг) и Ковель – Киев (восток – запад). Можно сказать, даже важнейшим, особенно когда немцы готовили штурм Сталинграда.

Как разрубить такой узел? В лоб не взять – сильный гарнизон и все подступы к Сарнам надежно прикрыты.

Тогда Ковпак бьет немцев по лбу. Оказывается, иногда бывает большая разница: в лоб и по лбу. Узел-то остался, а железные щупальца обрублены: партизаны одновременно взорвали пять мостов вокруг Сарн и полностью парализовали движение: сорок два эшелона в сутки! Пришлось немцам тащить их обратно на Львов и Краков, перегонять составы через Румынию и Бессарабию.

Гитлер пришел в ярость. Вызвал Гимmlера и приказал покончить с Ковпаком. Фюрера можно понять. Незадолго до «Сарненского креста» греки взорвали мост на перегоне Салоники – Афины; а по этой железке шли чуть не все грузы для африканского корпуса Роммеля. И надо же: два сокрушительных удара спланировали не генштабы, а партизаны, «бандиты». Представляю, что стало бы

с фюрером, узнай он, что первыми советскими партизанами стали евреи. Но ни Гиммлер, ни Кейтель такое не осмелились доложить фюреру.

Гиммлер поручил ликвидировать Ковпака генералу Кригеру, лучшему знатоку горной войны, воевавшему в Карпатах еще в Первую мировую. А Ковпак те места на брюхе исползал, добывая свои «Георгии». Вот они и встретились: генерал Кригер и генерал Ковпак.

Кригер разбил соединение Ковпака. Из окружения выбирались кто как мог. Комиссар Руднев, окруженный егерями, застрелился. Его сын Радик погиб. Но Ковпак, как волчище, попавший в капкан, перегрыз лапу и ушел.

Не думаю, что Кригер гордился своей победой. Кто против него воевал? Председатель горсовета Ковпак. Комиссар Руднев, бывший путиловский рабочий и партиец. Лучшей ротой командовал Карпо, до войны тракторист. Один из его дружков по пьянке убил кого-то, а не подумал, дурак, что жену оставит с ребятишками. А Карпо за него подумал и взял вину на себя: ведь ждуть и плакать за него никто не будет. Получил десять лет. За ударный труд освобожден через два года, призвался в армию, в десантные части. Потом лихо воевал в партизанах.

А кто у Ковпака начальник разведки? Петр Вершигора – бывший старшина музкоманды, актер, режиссер. И говорит Вершигоре начштаба Григорий Бегма, бывший учитель, директор школы, с тоской и печалью:

– Вот она, моя нивушка, лежит чистая, незасеянная. .. Сидит, бывало, какой-нибудь Кирилло-Мефодий, два вершка от горшка, на парту навалился, ручонки расставил, выводит по листочкам «Мама мыла... Мы не рабы...

», и кряхтит, и носом шмыгает. А теперь... Ну чем мы теперь занимаемся?

Войной, дорогой Григорий Яковлевич. И ваша партизанская радистка записывает по слогам, что ей строго диктуют из Москвы: «На-ша ро-ди-на в о-пас-нос-ти. Точка. Повторяю. Наша родина в опасности. Точка. Судь-ба на-шей страны ре-ша-ет-ся в бо-ях на ю-ге. Точка. Повто-ряю. Судьба...»

И вы, Григорий Яковлевич, решили на пятерку зада-чу, заданную вам войной. У вас лично это здорово полу-чилось. Ведь это вы придумали операцию «Сарненский крест». А у нас на вашей партизанской должности нач-штаба был Берл Куличник – не учитель, но тоже воспита-тель, тренер. А разведку наладил Идл – тоже музыкант, и тот еще артист, как ваш Вершигора.

Вне расписания вдруг всем нам объявили: новый предмет – ВОЙНА.

Дети! В школу собирайтесь.

Петушок пропел давно.

Вот и петушок прокукарекал по радио: 22 июня... И все попали в первый класс.

Кто уцелел – остался на второй год. Потом на тре-тий, четвертый. За каждую ошибку: смерть, расстрел, трибунал, штрафбат, концлагеря – немецкие и наши. По-мощь Международного Красного Креста Сталин отверг: «Нет русских пленных. Русский солдат бьется до смерти. Если он выбирает плен, то автоматически становится предателем».

Но сталинские директивы были не для нас. Нашей директивой стала Тора. Спасибо, Господи, что ты вразумил Ихла-Михла. И с нами, как в дни Исхода, следовал Всевышний то облаком, то огненным столбом.

«Слушай, Израиль! Вы сегодня идете в бой на ваших врагов: да не обмякнет ваше сердце, не бойтесь, не действуйте необдуманно, строй не ломайте.

Бог, Всевышний ваш, – Он с вами, чтобы сразиться за вас с врагами, дабы спасти вас».

Каким был первый приказ Куличника? Это я уже говорил: всех стричь наголо.

Лучшим стригалем оказался Гриша Зеленец, ветеринар. Еврей хоть куда. Одно плохо: не брал в рот спиртного. Видеть его не мог. Даже в праздник пурим.

В первый партизанский пурим смешали самогон с клюквенным киселем, сваренным из концентрата. Настоящее сладкое вино получилось. Гриша Зеленец, как уже известно, даже не смотрел в ту сторону. А Шмулик Рыжий...

В отряде было четыре Шмуля – Геллер (от тифа умер), Дорфман, Шнитман и Липец, но их звали по волосам, даже когда весь отряд постригся: Черный, Рыжий, Седой и Пробитый (Шнитману лоб осколком пробило).

А Гриша Зеленец и Шмулик Дорфман (он же Рыжий) с детства дружили. И Рыжий пристал к нему как репей, просто вцепился:

– Гриша, ты мне друг? Настоящий?

Зеленец даже побледнел от обиды.

– А если меня смертельно ранят, ты, чтоб я был здоров, кружку вина выпьешь?

Гриша кивнул.

– А самогона бурячного без закуски?

Какая муха его укусила?! Даже ребе Наумчик не выдержал:

– Шмулик, окажи мне уважение в такой день: помолчи.

Рыжий так и сделал. Не дурак же он совсем.

И накаркал себе.

По кюветам большаков ржавело много снарядов. Из них выплавляли тол. Получались как куски хозяйственного мыла. Иногда обменивали у других отрядов на харчи, да и на настоящее мыло. Были у нас по этому делу спецы вроде Гиндина. Вывинчивали взрыватели, снаряд разрубали зубилом или на жаровне калили. Работа опасная, нужна не только смелость, но хладнокровие, осторожность, сноровка. Я бы не смог. А Рыжий сам рвался. Менял тол на самогон.

Вот и в тот день вытапливал на костре тол из бомбы. А она оказалась термитная зажигательная, никто ее по виду не отличил от обычной фугаски, иначе не стал бы и калить. Три человека от взрыва бомбы ослепли, а Шмулика Рыжего смертельно обожгло. Самогон ему в рот вливали через воронку, чтоб боль заглушить. И Гриша подставил кружку под самогон.

– Шмулик, хочешь, я выпью?

Рыжий в последнем сознании был. Как мумия, тряпками весь обернутый. Только дырка, где рот, для воронки. Не говорил уже. Только мотнул чуть головой: не надо, не пей.

А часы, которые остановились у Стены Плача, сами пошли.

Я их отдал Тверскому – сыну часовщика Тверского. Он устроился в универсаме на площади Давидки в Иерусалиме. Выгородили ему квадратный метр с окошечком, он и сидит там, как кукушка в ходиках. Такой же взъерошенный, как отец.

Недавно получил от него открытку с видом памятника тому самому Давидке, в честь которого названа площадь, который смастерил первый в Израиле миномет – это орудие и есть ему памятник. А на открытке Саша Тверской написал: «Вениамин Яковлевич, часы ваши сами пошли, идут секунда в секунду, как “Турецкий марш”».

Часы – предмет загадочный, как само время.

Оказывается, если в помещении находится много хронометров, из которых одни спешат, другие опаздывают, третьи идут нормально, то спустя какое-то время колебания маятников синхронизируются и все часы показывают одно время.

Короче говоря, часы сами знают, когда им идти, когда не идти. Как люди.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Извините, умники, но лучше всего мне думается в трамвае, мимо железных копий ограды Сокольников: там аллеи, пруды, пивнушки, шашлычные; и рельсы взрывать не надо. Дремлет кондуктор. Я только что стал гроссмейстером. Нас всего пять на весь СССР, даже меньше, чем маршалов. Год 1961-й. Мне – сорок четыре. Сын служит в ракетных частях за Уралом, под Шадринском. В роте охраны. Как папа когда-то. Только он уже гвардии младший сержант и сторожит баллистические ракеты. А я так и остался без всякого военного звания. Эстерка учится в пищевом институте, на факультете фаршированной щуки – это она так шутит.

По аллее – конный милицейский патруль. Жеребцы – серые в яблоках, попоны с красными звездами.

У Ихла-Михла был вороной с белым снежком во лбу. Сам вышел к нам ночью. Я как раз сменился с поста, сдал пост Грине Шлицу, бодрствовал, обсыхал у печурки, а на нарах дрыхнул Гришка Юнанов, самый храпучий в отряде. Хорошо немцев поблизости не было.

Темень. Дождь проливной. Начало октября 43-го. Только-то ль ко оторвались от немцев, спасибо Станчику и его полякам.

Мы – в боевом охранении штаба. Пост номер один. И все зубами стучим: кто на посту, кто во сне, кто в земле – от невозможной сырости и недоедания.

И вдруг – треск, да так громко, что даже я, не часовой, услышал. Гриня, конечно: «Стой! Кто идет?» Хоро-

шо, что сразу в том направлении не пальнул. Я бы, наверное, с испуга нажал курок. А Шлиц действовал по уставу. Да и у коняги хватило ума заржать: по-настоящему, во всю жеребцовскую глотку. Он больше нас обрадовался.

Конечно, прибежал начальник караула. Переполох. Куличника разбудили. А он же срочную в польских уланах служил, знает обращение с лошадьми. Достал из кожуха корочку черного хлеба, как будто нарочно держал для такого случая. Гладил лошадиную морду и приговаривал: *«Унзер орем бройт»* – «Наш скудный хлеб». Столько лет прошло... И если б я своими глазами не видел, не поверил бы, что конь будто не губами взял хлеб, а рукой, как человек. И сразу прозвали коника Бройт[Хлеб (*идиш*).].

За спиной две трамвайные женщины моих лет обсуждают кого-то: «Вообразил о себе много чести, а совести ни на грош».

Вот так ход, женщины! А у гроссмейстера ума не хватило.

Столько лет думаю про нашего командира, хочу его натуру разгадать. А тут одна фраза – и в дамки! Вот: у Ихла-Михла был только гонор, а совести не было. Храбрость, ум, расчетливость на пять ходов – это конечно, тут его немцам ни разу не удалось переиграть. Но не это стержень характера. Не ключ к замку.

Примеривал я его к Ковпаку – не подходило. Не тот пазл. Вот у Сидора Артемьевича совесть была. И справедливость, и жалость. Но Ковпаку присниться не могло та-

кое боевое задание: «Иди! Выведи народ Мой, сынов Израиля, из Египта».

А Куличнику пришлось самый главный еврейский приказ выполнять. Понимаю: все люди смертны. Но некоторые еще и обречены. Ихл-Михл спас нас от обреченности. Может, именно потому, что не было у него ни жалости, ни совести. Зато что-то такое было у него, чего ни у кого из нас не было.

И вот что еще было у Ихла-Михла, а у Ковпака не было (так я почему-то думаю): он выслушивал проклятья и оскорбления с улыбкой.

Лазоревое небо. Чистейшее. Как сегодня. После войны снова модны оранжевые тона после черных, коричневых, красных цветов. Но до *после* еще надо дожить.

Первый послевоенный турнир я играл в Путивле, на приз дважды Героя Советского Союза С. А. Ковпака.

Сидор Артемьевич беспокоился за своего путивлянина. Обнял его. А жеребьевка как раз свела меня с ним. Аккуратненький хлопчик, не опрометчивый.

– Все ходы записуешь? А ну, дай свово блокнота. Другой ход уже знаешь? Кажи. На ухо кажи. Тильки нэ горячись.

Но как ни тужился хлопчик, партию все-таки сдал. И остальные три. Победителем стал Соломон Гонтарь из Харькова. Я занял второе место и получил от Ковпака наручные часы «Победа».

– Ты ж еще молодой, шустрый. Тебе точное время сгодится. А мне, старому, чего минуты считать, коли жизнь прожита.

Устроили в столовой скромный обед. Только-только отменили карточки. Беги покупать в магазин, были бы гроши.

Ковпака тогда, если не путаю, назначили членом Верховного суда Украины. И вот осудили его партизана: украл на базаре хлеб, сало, три луковицы. Уложил в торбу – и к воротам. Подвела лесная привычка, забыл, что за купленное надо платить. А торговка за ним, да в крик: «Караул! Ворюга!» Хотел он расплатиться, да поздно: милиция скрутила – и в отделение. Суд скорый: дали партизану восемь лет, тогда крепко сажали, по самую репку. И написал он из заключения своему командиру. Разрешили им свидеться.

– Сидор Артемьевич, неумышленно я своровал. Как на духу говорю...

– Кабы ты врал, я бы и говорить с тобой не стал. А закон, брат, один для всех, за то и воевали.

– Да я не за пощадой пришел. Закон для меня не обида. Обидно, что вы на меня подумаете, будто я у той бабы харчи своровал. Горько мне за себя и перед вами стыдно до невозможности.

По ходатайству Ковпака повторный суд оправдал того партизана. А случай тот Сидор Артемьевич припомнил, когда нас угощали после турнира.

– Я-то, дурень, не за ковригу хлеба, три луковицы и сало не заплатил, а в ресторане «Москва». Нас в той гостинице всегда селили, когда требовали из леса. Выпили с командирами, закусили, а гроши не заплатили. Как тот

хлопец, отвыкли в лесу от денег. Утром привозит мне дивчина в номер люкс завтрак на тележке и плачет.

– Ты чего ревешь?

– А! Что вам до этого?.. Разве вы мне поможете?! – и еще больше ревет.

– А може, и поможу. Розкажи!

– Что тут рассказывать? Гуляли вчера какие-то люди, с виду порядочные, заслуженные даже, а оказалось – обманщики. Не заплатили за ужин!

– И много воны тоби должны?

– Двадцать семь тысяч с лишним! Цены сейчас, сами знаете, коммерческие! Это ж сколько мне отработать придется!

– Так я тоби заплачу.

Полез Сидор Артемьевич в шкаф, достал чемоданчик с деньгами (взял на всякий случай из леса):

– Бери, сколько надо.

Сам вышел в коридор, будто покурить. Вернулся – та сидит перед чемоданом, глазам не верит.

– Чого ж ты нэ считаешь?

– Так они же чужие.

– Не чужие, а мои – всей компании нашей. То ж я вчора заплатить забуду!.. Понимаешь? Отвыкли мы от грошей. Мы там, в лесу, как при коммунизме живэмо...

Партизаны не только снаряжение и боезапас с Большой земли получали, но и жалованье, если отряд числился в Центральном штабе партизанского движения у А.

Пономаренко и отчитывался, сколько чего взорвал, сколько живой силы фашистско-немецких захватчиков уничтожил, сколько техники вывел из строя, сколько партийных и комсомольских собраний провели, сколько отпечатали листовок и сводок Совинформбюро. Самолетами присылали и деньги. На этот счет было строго: командиру отряда – 800 рублей в месяц, рядовому – 30. Платили фронтовые, боевые, наградные. Поэтому у Ковпака были деньги.

А у нас откуда? Это за нас полицаям платили, за наши головы. А нам в ведомостях начфина расписываться не полагалось. Но Ихл-Михл серьезно решил, что для нас «коммунизм» настал: в смысле бесплатного довольствия и экспроприации.

Одна малявка в школе, куда меня пригласили рассказать про войну, спросила: «Дядя партизан, а кто вас в лесу кормил? Бабушка?»

Дед с бабкой, малявочка. Все мы у них поотнимали, до чего дотянуться могли. Многие потому в полицаи пошли, чтоб свое добро охранять да еще чужого маленько прирезать. Жизненные блага, Красная Шапочка, они как пирог: нож лежит рядом, но не всякий может взять его в руки.

Про Гриню Шлица я упоминал. Храбрый был боец. В разведку какую – он первый. Никакая зараза его не брала: ни тиф, ни понос, даже вошь по нему не ползла, боялась. Чумовой он был. Смотрит на тебя – и не видит.

«Гриня, на пост пора». – «А?»

Встряхнется, вернется башкой из своей думки и тянет, как дурачок: «А-а!...»

Послал его Берл Куличник за картошкой на ближний фольварк, километров за двадцать. А какой там фольварк, одно название. Баба жила там с детьми, сама на себе пахала. Но ссыпала последнюю картошку партизану в мешок и со злости на десять узлов веревку завязала.

А Гриня не поленился... Ногти обломал. Зубами помогал, так что чуть все не повыпали. Почему финкой не перерезал? Веревку пожалел – пригодится.

Достал картошины и велит бабе: «Испеки на дорогу». А сам, чтоб время зря не терять, снял рушник с божницы, пришил, как лямки, к тому мешку, чтоб нести удобнее (у него в подкладке фуфайки всегда иголка была).

Выкатила баба лучиной испеченные картошки в подол. С подола на стол. Платок повязала потуже. А Гриня взялся за концы платка да еще туже, как она те узлы. И пошел. Выполнил боевое задание.

Только он из хаты, а детки – к мамке. Как-то освободили ее от удавки.

Вот так и снабжались.

Что было той бабе делать? Триста литров с коровы в месяц сдай немцу. Да десяток яиц, если есть куры. Мясо и хлеб отдай партизанам. А другие лесовики сами придут, заберут. И все требуют: корми! А где взять?

Но у мужика с бабой тоже военная хитрость:

– Помажы Божа, товариш, але ж гэтай ноччу прыходили жыды и усе забрали. Усе позабירалі гвалтам, абрабавалі.

И на русский тебе переведут, если белорусского не понимаешь, и по-украински, и по-литовски, по-польски: немцы и жидаы все забрали. Они же, ивреи, хитрые!

И поди разберись, где правда.

Но Куличник понимал: нам такая худая молва страшней полицаев. Это как торфяной пожар: если в самом начале не загасить, потом не потушишь. Да еще партизанские командиры настраивают население против евреев: Абрамы не воюют, в Ташкенте жируют, им верить нельзя, они от немцев подосланы. Из Москвы, из самого главного Центрального штаба партизанского движения поступила директива всем подпольным обкомам, райкомам, штабам: «По имеющимся сведениям, немцы направляют из гетто евреев для отравления колодцев в местах сосредоточения партизанских отрядов. Примите соответствующие меры».

Меры известно какие. Много евреев, спасшихся от полицаев, расстреляли партизаны. Неужели верили?

Конечно, Ковпак и Федоров такой брехне не верили. Но хоть бы один партизан, испив воды из криницы, животом занедужил от еврейской отравы! Мы-то сами из криниц и колодцев воду не пили. Зимой топили снег, а так – родник, речушка, дождевая вода, болото. Но я многих партизан допытывал: встречал ты хоть один отравленный колодец? Никто не встречал.

У Федорова Черниговского одним из лучших подрывников был Семен Юдович, лично подорвавший одиннадцать вражеских эшелонов. Когда Ровно освобо-

дили, его назначили старшим автоинспектором. Потом он командовал в облавтотресте. И он такого случая с отравленным колодцем не знал. Кстати, за десять пущенных под откос эшелонов полагалось давать Героя, а Семен получил только Красную Звезду.

Скажете, какая на войне может быть обида? Как сказать... Через много лет, уже после войны, я узнал, что самую крупную диверсию совершил Федор Крылович – на станции Осиповичи: на рассвете 30 июля 1943 года установил две магнитные мины с часовыми взрывателями и взорвал состав цистерн с бензином. А на соседнем пути стоял состав с боеприпасами. Всего на тот момент на станции оказалось четыре воинских эшелона. Взлетели на воздух пять «тигров» и другой техники неперечислимо. Срочно доложили в Москву. Четыре командира за такую диверсию стали Героями. А Федору Крыловичу дали орден Ленина... в 1949 году. Хорошо еще, что хоть при жизни. Да и награду, а не тюрьму.

У Идла Куличника своя разведка по многим местам была. Он проверил сплетни раз, другой, третий. Расследовал через своих слухачей, что в одной деревне у мужика увели корову, но не евреи, а полицаи. У другого свинью зарезали, но не евреи, а бульбовцы, сичевики. Третьего самого на куски порубили гайдамацкими секирами и хату сожгли – опять не жидаы. А все валят на нас. Тогда Ихл-Михл вместе со Станчиком и одним русским командиром выездной трибунал устроили: честно сознавайтесь, как было дело. Ну те и отказывались от брехни. А чтоб другим неповадно было, баб и мужиков языкатых крепко пороли. На первый раз. На второй раз стреляли. Было и такое.

А та тетка с детьми до нас добралась через болота. Берл с Идлом ее допрашивали. Она так сказала: ваш еврей последнюю еду у меня отнял, убить хотел, вот пришла – убивайте нас, все равно нам кормиться нечем.

У Идла какое-то подозрение обрисовалось. Расспросил внешность партизана, во что одет, в какой мешок картошка была сложена. Мешок в войну дорого стоил. Три дырки прорезал – вот бабе платье, а мужику костюм.

Построили первый взвод первой роты, которой командовал Идл. Баба прямо указала на Гриню. И мешок, и рушник тоже нашлись.

Ждали, что решат командиры. Долго братья в стороне курили. Штабной блиндаж еще не успели оборудовать на новом месте, надеялись вернуться на старую базу. Мне показалось, что Куличники поссорились.

Взвод разбрелся. Командиром взвода был Нисим Шарлат, техник-лейтенант, попал в плен после контузии, бежал, партизанил в Клетнянских лесах, но еще с одним лейтенантом, Исаем Трубником, решили податься к нам.

Нисим построил взвод, доложил Ихлу-Михлу. Тот что-то сказал Идлу, я не расслышал. Идл скомандовал:

– Боец Шлиц, три шага из строя. Признаешь эту женщину? Значит, знаешь, чего заслужил своим преступлением. Шарлат, твой боец. Приводи приговор в исполнение.

– Нэ можу вбываты еврэя.

У Идла был трофейный браунинг. Плоский, в карман положишь, как носовой платок. А баба стоит, будто ее ничего не касается, только головой трясет. Дивилась, на-

верное, чего эти жидаы не на фронте. А когда грохнул выстрел, дернулась, вжала в подол детей. И той ночью на рушнике, отпоротом от мешка, на елке повесилась.

Гриню Шлица вычеркнули из списочного состава. А вписали трех братьев Мамкиных.

Идл спросил их фамилию. Два воробушка смотрят на старшего, тот как старичок шести лет, а они тянут его за рубаху: «Гриш, а мы чьи? Мамкины?» – «А чьи ж еще!»

Слышал от кого-то, что Ихл-Михл увел их с собою в Польшу, оттуда – то ли в Канаду, то ли в Южную Америку. Да только зачем ему такая обуза?

Братьев Мамкиных наша ребятня обижала. Те ведь идиша не понимали. Идут еврейчики в хедер: Мамкиных щиплют с вывертом, зло. Из хедера идут: щиплют. Я их прямо охранял от наших зверенышей. Они же и так замороженные, только и есть что живого в них – конопушки.

Вырезал им свистульки – отняли. Даже травинки, чтоб как дети, в ладонь зажав, свистят, – и те отняли. Пожаловался меламеру Рубинову.

– Балабан, что ты от меня хочешь? Чтоб я из-под земли вызвал их родителей и пристыдил?

Только одна девочка с ними дружила. Любимица моя ненаглядная, звездочка моя, Эстерка. В шутку я называл ее «донья Луиза».

Видел до войны во Львовском музее портрет в полный рост грудастой испанки в красном бархатном платье, с громадным шелковым бантом, каким завязывают короб-

ки шоколадных конфет. Медная табличка на раме: «Донья Луиза Эстер Хуанита Рамона Мария Лопес».

Конечно, никакой толстушкой наша Эстерка не была; наоборот, просвечивала, как стрекозиное крылышко. Просто мы с ней придумали такую игру: каждый день недели я называл ее одним из испанским имен. В воскресенье она – Луиза, понедельник – Эстер, вторник – Хуанита, среда – Рамона, четверг – Мария, пятница – Лопес. А в субботу – Малка, Царица. Царица Суббота, самый великий еврейский праздник.

Мне невероятно нравится произносить имена испанских грандов, нанизанных, как бусы, на фамилию. И названия гаваней, заложенных мореходами. Например, Буэнос-Айрес (по-испански – Хорошие ветра). Но это лишь хвостик настоящего названия: Город Пресвятой Троицы и порт Богоматери Святой Марии хороших ветров. По-моему, сказочное название. Не зря же здесь родилось танго, мой любимый танец. Ида терпеть его не могла, считала развратным. Хорошо, что Эстерка так не считает. Звездочка моя. Светит мне из Израиля.

Лежу, смотрю в окно: светит мне. Спи, Немке, глупый мой папка.

...и звезда с звездой говорит...

Кто я такой, чтоб говорить со звездой? Просто мне повезло. Ведь я Вениамин-Беньямин, по-еврейски «сын счастья».

Бен-они («сын моего горя») – так праматерь наша Рахиль назвала своего мизиникла, младшенького, когда после родов душа оставляла ее. Но Иаков, муж ее, на-

звал любимчика своего – *Беньямин*, Вениамин, «сын счастья».

Так чей же я сын? По прааматери получается – горя; по праотцу выходит – счастья. Верно и то и другое. Наверное, поэтому я и стал играть в шашки. Белыми, черными.

Эстерка родилась в Погосте-Заречном. Четвертый годик ей шел, когда война вышибла дверь местечка. Там немцы топили евреев в реке Стыри, а детей побросали в колодцы. Не евреи ходили по городам и деревням, сыпали отраву в колодцы – каратели и полицаи кидали еврейских детей в колодцы. Но Эстерка выбралась из колодца. Тогда ее расстреляли.

Конечно, у отряда, как у человека, должно быть имя. У нас было веселое – «Пурим». А знамя? Что за отряд без знамени? Банда получится, а шайкес бандит. Знаю, многим отрядам сбрасывали с самолета знамена, пошитые в Москве на фабрике «Большевичка»: кумач с золотой бахромой, в верхнем углу у древка золотая звезда, под ней – серп и молот. Тяжеленные. На древко надо березку или сосенку рубить целиком, с мою руку. Неподъемные стяги.

У Ковпака было хорошее знамя. Они у немцев отбили танк, а там полно было всякого: сало, куры вареные, рушники с петушками, овчины, скатерть вышитая, отделанная мережкой. Не танк, а склад. И в немецкой плащ-палатке завернутое пионерское знамя: со шнурками, на концах золотые китаечки, по бокам бахромы; посреди вышит золотом герб СССР, и надпись вышита: «Пролетарии

всех стран, соединяйтесь! Пионерской отряд школы-десятилетки».

Петра Петровича Вершигору, у которого я прочитал про знамя, даже слеза прошибла. Комиссар Руднев захмурился: «Вот и освободили мы тебя из неволи, пионерский славный стяг! Не было у нашего отряда своего знамени, а сейчас будет. В бою добытое, кровью врагов омытое».

И край знамени поцеловал. И все партизаны то знамя поцеловали. На другой день партизанки серыми нитками вышили под гербом: «Путивльский партизанский отряд».

У нас тоже было знамя. Не бархатное, не шелковое – обычный красный сатин. Только верхний край со звездой, серпом и молотом мы обрезали, а посреди нашили два желтых треугольника – звезду Давида, как немцы велелишить евреям. Так мы и сделали.

Женщины хотели вышить моговид болгарским крестом, как петухов на рушнике, но Шломо Шабельник отнял у них флаг: «Вам только пуговицы к кальсонам пришивать, а тут нужен закройщик из Лодзи».

Почему не из Парижа? Но этому Шабельнику лишь бы ляпнуть. Злой был человек. Зато хорошо знал французский: в Первую мировую служил в русском экспедиционном корпусе каптенармусом, и у нас был в таком же звании – заведовал складом кальсон, рубах, портянок, а жена его – верховодила кладовкой для женщин. Точно не знаю, но, кажется, у нее одной был лифчик. Когда она развешивала его после стирки, женщины специально ходили на женскую вещь смотреть. А когда ночью его укра-

ли... На ночь она, конечно, уносила лифчик в землянку. Только у них была собственная землянка на одну семью: Шабельник, жена, две дочери, да у каждой – по две своих доченьки. Единственная целая семья, вся живая. Зятя воевали на фронте, оба в морской пехоте – жена Шабельника всем показывала фотографию двух веселых евреев в тельняшках и бескозырках. Письмо они успели получить 1 июля 1941-го, а 2-го Борисов заняли немцы.

Ох, она и голосила, когда лишилась лифчика! Ходила к Ихлу-Михлу, чтоб обыскали всех женщин. К ребе Наумчику, чтоб он наслал проклятья на бессовестную воровку. И смех и грех. Короче говоря, у каждого свое знамя.

Шабельник и стал закройщиком нашего знамени, хотя портных у нас были десятки. Куличник хранил знамя в штабном блиндаже, гвоздями прибил к бревенчатой стене. А когда прятались по болотам, знамя держал при себе, никому не доверял, даже стирать не велел.

Все мы тогда были жадные до еды, всем хотелось есть. Но все-таки стыдились смотреть в рот жующему. А Шабельник уставится трахомными зенками – и стоит. Или свернешь самокрутку, а он носом своим так дым твой себя в ноздри заглатывает. И своровать мог. Били его, судили. А прогнать куда? В каптерке-то у него ни одной портянки не пропало. Крал только курево и съедобное.

До войны я не раз бывал в Борисове. Это Минская область, райцентр. Синагог там было что-то очень много. Оттуда был реб Шмуэл Александров, бобруйский раввин,

чуть не оторвавший мне ухо. А дядя Соломон почему-то считал его гением.

А вот маршал Удино сделал там гениальный ход, когда французы отступали из России. Под Борисовом французы оказались в окружении, Наполеону грозил плен. Что делать?

Удино зовет к себе десять самых уважаемых борисовских евреев на совет: где самый удобный брод через Березину южнее Борисова? Ему указывают. Маршал отпускает семерых, веля соблюдать строжайшую тайну, а троих евреев оставляет при себе как проводников или заложников, точно не знаю.

Что делают семеро смелых наших? Из себя выбирают троих, чтоб скорей известить адмирала Чичагова, командующего русской армией, о месте, где французы будут форсировать Березину.

Чичагов спешно перебрасывает армию на юг. А Наполеон переправляется севернее Борисова и благополучно выбирается из окружения.

Удино прекрасно понимал: хочешь, чтоб о твоей тайне узнал противник, доверь ее евреям. Конечно, адмирал приказал повесить гонцов: Мойше Энгельгарда, Лейбу Бенинсона и Боруха Гумпера. А Игумкера, еврейского Сусанина, расстреляли французы – он отказался быть им проводником, это еще когда они только наступали на Россию.

Зачем все эти фамилии? Не знаю зачем. А чтоб уж окончательно сбить с толку того, кто прочтет мою писанину, приведу еще показатели: в 1897 году по переписи в Борисове насчитывалось 7 722 еврея (из общего насе-

ления 15 063), из них 2 200 портных. Как хотите, но такую цифру нельзя не привести.

Шить и кроить – самое еврейское дело. И, замечу, самое мирное. Но и между мастерами иголки и нитки случаются потасовки, даже настоящие войны. Как в Праге между портняжками – чехами и евреями. Конкуренция! Спрос – предложение, качество, стоимость. Но в ход пошли доносы. В 1745 г. евреев изгнали из Праги. И что их завистники получили? Одни убытки. Разбрелись наши по всей Чехии и Моравии, стали обшивать местных жителей прямо у них, можно сказать, на дому, и те перестали ездить в Прагу. Зачем? Придет еврейчик, перешьет жилетку из брюк, пошьет что надо жене и детям да еще заберет старье.

Был такой Авраам Мандель из Протеева, торговал поношенным, перекраивал мундиры в цивильное платье. Его сын Моше открыл свой магазин. А внук Меер построил первую в Европе швейную фабрику и обшивал всю турецкую армию и еще несколько армий поменьше. В Протееве и сейчас фабрика пошива одежды. Не удивлюсь, если фамилия ее владельца – Мандель.

Шломо Шабельник, конечно, не Мандель, но это смотря чем мерить. С ним вот что случилось...

Гебитскомиссаром Борисова назначили Фридриха-Георга фон Зауэрбаха, ненавидевшего поляков не меньше чем нас: «По моему мнению, не будет никакой пользы, если еврейская вошь будет удалена из немецкого меха, а польская останется».

И вот матерый фашист приказывает, как маршал Удино, доставить в свою резиденцию «еврейскую вошь»

– и правда вшивого доходягу из гетто. Наверное, Шабельника все-таки отмыли, переодели, возможно, даже накормили, прежде чем он предстал перед гебитскомиссаром.

Фон Зауэрбах сидит за громадным столом. Перед ним – шашки.

Кстати, одно из преданий гласит, что шашки придумал герой Троянской войны Паламед. Наверное, когда вместе с Одиссеем и другими хитроумными греками коротал ночь в троянском коне. Самое место и время.

А у римлян шашки назывались «латрункули» (от лат. *latro* – солдат), игра считалась военной, так как напоминала сражение.

Вот и гебитскомиссару приспичило сразиться с достойным противником. Он же был чемпионом Баварии в тридцатые годы. А шашки – такая зараза! Не знаю, как немец разнюхал про шашиста Шабельника.

Кроме охранника-эсэсовца в кабинете два штатских – переводчик и международный арбитр, голландец Пауль Ван-Моос, специально доставленный из Гааги в Борисов. Матч ведь международный, можно сказать, даже межрасовый.

Условия простые: Шабельник выигрывает партию – выигрывает свою жизнь. Еще одна победа – спасает еще одну еврейскую жизнь, по своему выбору. Проигрывает – ничего не поделаешь, не повезло. *Verstehen Sie?* И без перевода понятно. Ничья – значит ничья. Пол-очка. Но не полжизни.

Гебитскомиссар фон Зауэрбах и чемпион спортивного общества «Унион» 1916 года Шломо Шабельник сыг-

рали десять партий. Результат 1:8 (две ничьих) – ясно, в чью пользу.

Ван-Мооса я увидел, когда встречал Бобби Фишера с его сумасшедшей мамочкой в самый первый его приезд в Москву. Фишер, конечно, гений. Все остальное не важно.

Шабельник выиграл в шашки свою семью. Но в лесу он не играл. Другие бились азартно, реб Наумчик даже стал чемпионом отряда. А мы с Шабельником судили. Все как положено. Только без шахматных часов.

А у меня один вопрос вертелся спросить: правда, что он встречался с Сергеем Андреевичем Воронцовым, первым чемпионом России?

Шабельник пожал плечами:

– Не с самим же собой Воронцов играл.

И замолчал. Как хочешь, так и понимай. Но я предполагал такой поворот разговора. Положил на ладонь сигарету и кусочек постного сахара. Второй ладонью накрыл призы.

– Так правда или вранье? Только по-честному?

– Правда. Я играл белыми «городскую партию». И проиграл. Хотя мог бы свести вничью. – И, утирая длинную сладкую слюну, прошамкал: – Да что Воронцов! С Вейсом у меня вышло полтора очка на пол-очка в мою пользу. Но тогда он уже был экс-чемпионом мира.

– Исидор Вейс?

– А кто же еще?

Исидор Вейс стал чемпионом мира в 1894-м, когда родилась моя мама. Говорят, он был шляпником. То ли

шил шляпы, то ли продавал. И шестнадцать лет был чемпионом. Гений эндшпиля.

Конечно, Гитлеру не стоило нападать на Советский Союз, чтобы гебитскомиссар фон Зауэрбах продул восемь партий из десяти портному Шломо Шабельнику. Такое можно было устроить и без вероломного нападения.

Выпустили Шабельников из гетто, восемь душ. Пропуск со свастикой и печатью на 72 часа. Не успел спастись, пеняй на себя.

Кто их спас, моей Иде рассказала жена Шабельника. Ксендз-белорус – не борисовский, а из Шиловичей, у него сестра жила в Борисове, работала на спичечной фабрике. Он и приехал за спичками. Спички были тогда такое же богатство, как соль.

Ехал он на своей бричке в две добрых лошадки, с личным кучером с полицейской повязкой на рукаве, сам в сутане, с тонзурой, как полагается. Мы с ним потом подружились. Мудрейший и добрейший был человек Казимир Можейко.

И увидел он евреев, бредущих по обочине «варшавки» из города. Спросил:

– Панове, куда идете?

А они, восемь душ, упали на колени и плачут. Что тут поделаешь? Посмотрел ксендз их *аусвайс*. И велел всем лезть в бричку, молиться, как могут.

Пост жандармерии.

– Что за люди? Куда направляются? Ваши бумаги?

– Евреи. Везу крестить.

Хохот. Священник, конечно, шутит.

– Почему? Иисус Христос ведь тоже был крещеным евреем.

Так он довез их до Шиловичей и прятал со своим ризничим, пока не пришел связной от Куличника. То есть я.

Последний раз я видел Ковпака 7 ноября 1957 года. Киев, праздничная демонстрация по Крещатику. Колонну партизан возглавляют партизанские генералы: Алексей Федоров и Тарас Строкач, а посередине – Сидор Ковпак. Ордена навинчены на полушубок, папаха с кумачовой лентой наискосок, сапоги и, у единственного из всех партизан, автомат на груди. И рожок вщелкнут не пустой, вбиты все тридцать пуль. Не такой человек Дед, чтобы оружие носить для показа.

Вечером устроили большой прием по случаю 40-й годовщины Октября. Ковпак был в черном пиджаке и вышитой сорочке. Усы обвисли. Семьдесят лет старику. А мне было сорок. Попросил его расписаться на книге «Из дневника партизанских походов».

Сидор Артемьевич сидел за столом в окружении. Всем хотелось близко увидеть его. А один ученый все пытал его:

– Скажите, а кто в жизни служил для вас примером? Кому вы подражали?

Кажется, он и тогда продолжал курить. Да, в моей памяти слышу чирканье спички по коробку. Вижу лукавую усмешку Деда:

– Попу подражал: до попадьи ходил. Он за ограду, а я шась в усадьбу. А серьезно... Одиночкам не подражал. Я ведь всю жизнь с людьми. С ними и вырос, как говорится, на массовой базе ориентировался.

Вдруг кто-то свинский вопрос подложил:

– Были среди партизан евреи?

Мне показалось, Ковпаку неприятно стало. А может, сейчас так мерещится. Разогнал ладонью дым, а вопрос не разгонишь. Я сразу тогда ответ записал на листке и вложил в ковпаковскую книгу.

– Для менэ всё одно, хто ты: еврэй-нэеврэй, хоч сам генерал. Хоч бы пес, абы б яйца нес. Бери винтовку и вой, а там побачимо, шо з тобэ выйдэ.

И я подошел с книгой и наготовленной самопиской.

– А, Балабан? Все у шашкы малюешь? Кажі мені, соколичок, відкіля ти?

– Та ж з Чярнух.

– Добрэ. – И крупно написал на книге: «Партизану Балабану з Чярнух от генерала Ковпака».

Вот они вместе стоят: «Война и мир» (1937) – от великого хирурга Сергея Сергеевича Юдина, и «Из дневника партизанских походов» (1957) – от великого воина Сидора Артемьевича Ковпака.

Гис, Балабан, гис! Наливай! И хрен с ними, евреями. Выложи им все, что накопилось!

Что же такого интересного еврей накопил на евре-ев? Вот у чярнухинского шабес-гоя [*Шабес-гой* – не ев-

рей, делающий в синагоге и по дому то, что еврею нельзя делать в субботу.] Дрыгвы, у того накопилось! Ша бес-гой, это ж даже не прислуга, а не знаю что. Помню, как он схлестнулся с меламедом Рубиновым. А ведь началось с анекдотов. Солнышко пригрело, вот мы и оттаяли. И всем по здоровому куску той коровы досталось, которую Дрыгва пригнал. «Це нам на завтрак». Кто-то и спросил Дрыгву: «А ты что молчишь?» А Дрыгва, видно, давно обдумал подобный вопрос.

– А чего про дураков рассказывать?

Меламед очень заинтересовался категорическим ответом, да и мы все. Неужели белорусы умнее евреев?

– А то! Задам вам загадку: чему подобен тот, кто много знает, но мало делает? Ясно: дереву с густой листвой и слабыми корнями. А тот, от кого пользы много, а разговоров мало? Сильному дереву с крепкими корнями, а листвы у него маленько. Это ж ваша еврейская мудрость. Разве не правда, Рубинов? Теперь сравни еврея и хоть самого убогого полищука [*Полищук* – житель Полесья, болотного края; почему-то в других местах полищук-ков считают глуповатыми простофилями.]. Ну, в чью пользу окажется? А самое дурное, что вы себе напридумали: нельзя гроши брать в руки в субботу. Чего ж мне? Мимо пройти? Или в воскресенье прийти за ними? Ага. А гроши меня дожидаться станут. У пана Ждановича были субботние брюки с зашитыми карманами. Пиджак, жилетка тоже. Чего сразу не сказать портному, чтоб не делал карманов? Нет, надо с карманами, а потом их нарочно зашить? Нет, обязательно с вывертом. Или собачка ихняя, пудель... Наложит, а убрать за ней нельзя – суббота! И на улицу вывести по собачьей нужде нельзя. Сиди, нюхай! Зови Дрыгву, он ша бес-гой, ему можно за еврейской

сучкой говно прибрать. Ну ладно, пудель... А дети? У Ждановича паркет навощен, как каток. Альбинка спрыгнула с подоконника и нос раскровянила. Платице все в крови. А пани Жданович сопливуку не утрет, накладывает гостям запеканку. Вот тебе и суббота.

Да, это сейчас я стал умным, как Дрыгва. А в лесу Тору читать было некогда. Хотя это самое главное дело еврея: читать, исполнять, помнить. Записывать все ходы, а не так, как Авраам просил Господа за Содом: а вдруг там вместе с нечестивыми погибнут и праведники!

Господь отвечает: – Хорошо, пощажу Содом, если найду там пятьдесят праведников.

Авраам: – А если там будет чуточку меньше? Не совсем пятьдесят.

Господь: – Ладно, найду сорок пять, тоже пощажу город ради них.

Авраам: – А если их будет сорок?

Господь: – Пусть будет сорок.

Авраам: – А тридцать, Господь мой?

Господь: – Пусть будет тридцать.

Авраам: – А если найдутся двадцать?

Господь: – Пусть двадцать.

Авраам: – А десять?

«И пошел Господь, устав говорить с Авраамом...»

Устал Господь играть в поддавки с Авраамом.

Что есть добро? Что – зло?

Ну, это сказка про белого бычка. Анекдот про шофар.

В *Йом-Кипур* (Судный день) – самый ответственный, единственный, когда мы с темна до темна не пьем, не едим, а молимся, просим прощения у всех, кого обидели; молим Всевышнего простить нам все грехи – даже те, что мы совершили по принуждению; просим простить за то, что мы клялись, но не сумели исполнить клятв. Весь день мы заняты самыми важными делами, для обычных дел просто нет даже капельки места. В Йом-Кипур Господь решает судьбу каждого еврея. Тут не до шуток, хотя это великий праздник. На исходе его долго-долго трубят в шофар. Обычно эту честь оказывают самому уважаемому еврею. Но всегда находится тот, кто считает себя заслуженней. И вот такой обиженный решил испортить уважаемому еврею все удовольствие и насыпал в шофар горох. Тот хотел затрубить, но только осрамился. И подал в суд на обидчика за оскорбление достоинства.

Выслушал его судья и спросил:

– А что такое шофар?

Истец пожал плечами:

– Шофар это шофар.

– Это не ответ, – возразил судья и обратился за объяснением к ответчику, что такое шофар.

Тот тоже пожал плечами.

– Шофар – это шофар.

Пришлось в суд вызвать эксперта. Эксперт думал-думал и говорит:

– Дело в том, ваша честь... Шофар – это... так сказать... Словом, шофар – это шофар.

Рассердился судья и пригрозил эксперту штрафом за насмешку над судом. Подумал эксперт и не нашел лучшего объяснения:

– Шофар – это такая труба.

– Вот видите, умеете же объяснить, когда захотите. Теперь я знаю, что такое шофар! – и вынес приговор.

После заседания к судье подошли истец, обвиняемый и эксперт. И все в один голос воскликнули:

– Чтоб вы знали, господин судья: шофар – никакая вам не труба, шофар – это шофар!

То же самое – добро и зло. Добро – это добро. Зло – это зло. Ничего похожего. Такая же разница, как между светом и тьмой, между квадратом и кругом. Квадратура круга – задача в принципе неразрешимая. Это я вам говорю даже не как математик, а просто как нормальный человек. Древние египтяне ее не решили. Древние греки. Сам Архимед лоб об нее расшиб: как по диаметру круга с помощью линейки и циркуля построить квадрат, равновеликий этому кругу? Только в 1882 году Ф. Линдемман доказал, что задача неразрешима («теорема Линдеммана»).

А неужели нельзя придумать что-нибудь еще, кроме линейки и циркуля? Грек бы пожал плечами: неужели не ясно? Работа – дело раба. А свободный человек полагается на силу ума. По-моему, в этом евреи похожи на эллинов. Но есть интересное отличие: тех ужасала бесконечность, страшила трансцендентность, пугали иррациональные числа, а нас, наоборот, будто магнитом притягивает. Почему? У меня на этот счет свое мнение, вот почему не могу согласиться с глубокоуважаемым Леопольдом

Кронекером (1823 – 1891): «Целые числа создал Бог, а все остальные – люди». Остроумно, но не точно. Великий математик – и так промахнулся. Не сходится. Тем более что Кронекер – еврей, в чем я ни секунды не сомневался (потом моя догадка подтвердилась). Тогда что?

Кронекер был приват-доцентом Берлинского университета и мечтал стать профессором, а профессором мог быть только христианин. Двадцать лет крепился Кронекер. Не выдержал, крестился – и стал выкрестом, зато профессором. Отсюда и поворот в мышлении. А если серьезно, Бог сотворил одно-единственное – с у щ е е. Вечное бесконечное целое. Тут Кронекер прав (все-таки никуда не убежишь от собственного еврейства). Но спустимся с горних высей на грешную землю.

Я уже вспоминал, как ездил в Феодосию к Ривке Шафран в 49-м и не нашел ее. Выслали евреев. Даже тех, кто уцелел при немцах и румынах. И вот шел я, дошел до канавки и слышу – мать учит дочурку лет пяти: «Кидай по одному». Интересно, *что* в ту канавку такое надо кидать? Остановился поблизости, закурил. Оказывается, девочка набрала камней и бросила все сразу в лягушек – они в грязи, на листьях кувшинок, квакают. А глупая мать подучивает злую девочку: «Не кидай сразу гуртом. Кидай по одному». Нет, наоборот: злая мать, а дочка глупая. Зло старше глупости. Глупость – порождение зла. Вот и евреев всех повыбили гуртом.

Ну ладно, мамаша неразумная: нет чтоб рассказать девочке сказку про царевну-лягушку или про лягушку-путешественницу или просто сказать: «Послушай, как они замечательно радостно квакают!»

Но как мудрейший, тончайший Пришвин, чутко слышавший, как трава растет и цветы распускаются, мог написать рассказ «Журка» – про прирученного журавлика?!

Спросила жена Михаила Михалыча, сколько Журка за раз может проглотить лягушек? Ничего поумнее не догадалась спросить.

– Десять может?

– Десять может.

– А ежели двадцать?

– Двадцать – едва ли.

«В тот год лягушек было множество. Ребята скоро набрали два картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять – проглотил, дали десять – проглотил, двадцать и тридцать – так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки».

Ладно, я сглупил, что слопал на спор четыре банки сгущенки и заработал себе заворот кишок. Но то все-таки молочный продукт, а не живые создания. Разве же можно скормить их на спор даже одну? Ну, журавль ими питается, он сам их добывает. А вы-то зачем поставили перед ним полные картузы и стали считать проглоченных квакушек? Они, может, куда больше нас понимают в жизни. В своей, лягушачьей, чем мы в своей, человеческой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Залман Гройз – обмывальщик мертвых в Ашдоде, на берегу Средиземного моря, где могила пророка Ионы. Его зовут в самых тяжелых случаях: взрыв, самоубийство, обнаружен разложившийся труп, женщина раздавлена бетоновозом.

Он ровесник моей Эстерки и ее сосед по лестничной площадке. Жил и учился в Иерусалиме, образованный человек, вся квартира заставлена книгами. Большая редкость в Израиле. Кстати: ни разу не видел читающего немца – ни на войне, ни в Германии (уже гроссмейстером, когда меня стали выпускать на международные соревнования). Конечно, я спросил Залмана, почему он выбрал такое странное занятие.

– Просто заметил, что на кладбище покойникам не оказывают должного уважения и вообще в похоронном деле большой беспорядок. Стал добровольно обмывать тела без всякой оплаты. Сейчас получаю зарплату от муниципалитета и пособие от Института национального страхования. Детей, хвала Всевышнему, у меня много, а денег побольше не помешало бы. Нет, с близких усопшего я не беру. Наоборот. Знаете, о чем первым делом скорбящие родственники спрашивают меня: а не было при усопшем наличных, кредитных карт, ценностей? Однажды такое было: несколько десятков тысяч шекелей. Когда я отдал деньги родственникам, они были поражены.

Лазебников, старый сталинский зэк, рассказывал мне, что *рекордистов* хоронили в белье.

Странная привилегия мертвых. Странная для нормальной жизни. А многие вымаливали ее у палачей. Но их заставляли снять с себя все, аккуратно сложить и аккуратно лечь вниз, чтоб удобнее было расстреливать.

«21 сентября 1942 г. рота получила задание уничтожить населенный пункт Насыпное.

Расстреляно 705 человек, из них мужчин – 203, женщин – 372, детей – 130. Акция началась в 9 час. 00 мин. и закончилась к 18 час. 00 мин. Прошла без осложнений. Подготовительные мероприятия оказались целесообразны. При проведении акции израсходовано: винтовочных патронов – 786, патронов для автоматов – 2 496 штук.

Потерь в роте нет. Один вахмистр с подозрением на желтуху отправлен в госпиталь в Брест.

Зам. командира 10-й роты

обер-лейтенант охранной полиции

Мюллер»

Каждый третий из тех, что пришли убивать меня, был, наверное, Мюллером – «мельником» по-немецки. Вот они и перемалывали без устали мой народ.

«Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб...» (Пс. 13:4).

В бутерброде важнее всего хлеб. Масло, сыр, колбаса, икра, ветчина – не главное. Они всегда падают на себя. А хлеб поднял, сдул и кусай.

ЕШЬ ХЛЕБ, А НЕ ЛЮДЕЙ!

Евреев Насыпного отвели за семьсот метров от Насыпного. Могильщики получили лопаты на месте расстрела. Людей разделили на партии: две партии мужчин, три – женщин, детей – одна.

Раздеться. Аккуратно сложить: вещи – отдельно; украшения, игрушки, часы, очки – отдельно; обувь и одежду – отдельно. Лечь на живот.

Обер-лейтенант Мюллер сам все проверил. Оставалась последняя партия. И тут какая-то девочка повернулась на бок и уставилась черными глазами. Губы шевелятся. Офицер невольно наклонился к ней.

- Дяденька, я правильно лежу?
- Was sagt sie?
- Sie fragt: richtig gelegen? Ha-ha.
- Kleine N"arrin[– Что она говорит?
- Спрашивает: она правильно легла? Ха-ха.
- Маленькая дурочка (*нем.*)].
- «Эта дурочка» – наша Эстерка.

Наш партизанский хирург Юлик Цесарский рассказывал мне, что еще до плена ему пришлось оперировать раненого снайпера с газовой гангреной обеих ног. Необходима была срочная ампутация. Боец просил лучше его застрелить, чем отпиливать ноги.

– Я не согласен, товарищ военврач. Какой же я снайпер без ног? И не делайте ничего. Все равно застрелюсь. Только время зря потеряете, а вон сколько раненых.

Цесарский спас снайперу одну ногу. Как он объяснил: сделал широкие лампасные разрезы по всей ноге и обильное смачивание раствором марганцовки. И пенициллин здорово помог. В госпиталь приехал корреспондент, известный писатель. Написать про героя. Первый же вопрос: «Сколько людей на вашем боевом счету?» – «Я *людей* не убивал».

Почему же Мюллеры убивали людей так охотно, добровольно, с такой радостью? Этого я точно никогда не пойму. Да и многого другого, хотя и очевидного. Я все больше расхожусь с действительностью. Ну сами посудите!

Гауляйтер Вильгельм Кубе докладывает в Берлин: «Все вооруженные столкновения со всей очевидностью свидетельствуют, что еврейство является главным вдохновителем партизанского движения».

А сидящий в Москве начальник ЦШПД Пантелеймон Пономаренко считает наоборот, что немцы направляют из гетто евреев для отравления колодцев в местах сосредоточения партизанских отрядов.

Надо бы их местами поменять с такой взаимоисключающей оценкой действительности. Кубе – в Москву, а Пономаренко – в Минск, откуда он драпанул в Москву после первой же бомбежки.

А гауляйтер погиб на боевом посту, взорванный евреями. Мину ему подложила Елена Мазаник, план операции разработал партизанский командир Давид Кеймах – дипломированный диверсант, одессит, окончил в Москве Электро-машиностроительный институт им. Я. Ф. Каган-Шабшай [Каган-Шабшай Яков Фабианович (1877 –

1939), теплотехник. Учредил в Москве Высшие электротехнические курсы. В 1920 г. образован ГЭМИКШ – Государственный электромашиностроительный институт им. Каган-Шабшай.]. Это не я придумал. Но скажите мне наконец, кто такой Каган-Шабшай, что его именем назвали московский вуз? Кого он взорвал, какой подвиг совершил? Ни в каких справочниках такого деятеля мне отыскать не могут.

Не зря Кубе ненавидел евреев. Знал оперативную обстановку не из директив П. Пономаренко, не из речей М. Шолохова про «ташкентских партизан», как тот обозвал евреев. Великий вы писатель, Михаил Александрович, и пусть земля вам будет пухом, а не камнем, который вы швырнули в евреев.

Летом 1943-го собралась огромная сила: 52 тысячи мясников, чтобы зарезать *грязную еврейскую семью*. Не только нас. Очистить леса от партизан и всех лесовиков – красных, зеленых, желто-блакитных. Открываю папку «Германн». Читаю:

Пехотная дивизия СС (бригаденфюрер Курт фон Готтберг, после гауляйтера В. Кубе он займет его место);

2-й пехотный полк СС;

30-й полицейский полк;

четыре зондеркоманды СС;

бригада СС (штурмбанфюрер Оскар Дирливангер);

три батальона СС (Кернер);

украинские батальоны;

латышский батальон (группенфюрер Фридрих Эккель);

жандармское подразделение (Крейкенбом);

отряды спецназа гауляйтера Вальтера Кубе.

Люди становились на колени, со свечами в руках, перед танками. Выходили к карателям с иконами: не станут же стрелять в Христа и Матерь Божью! Но расстреливали и сжигали всех. И некому было защитить ни Христа, ни Марию, ни мужиков с бабами. Пали полки. Дивизии разбрелись по лесам. Сдавались армии.

А евреям кому сдаваться?

Польский отряд Станчика спас нас тогда. Прикрыл наш отход на болота, где мы попрятались, как лягушки, в торфяной жиже тонули, пили ее, сквозь рубахи цедили и, с клюквой смешав, варили.

Ихл-Михл называл Станчика Сташеком, они сдружились еще в уланах. Братья по оружию. В июле-августе 43-го только поляки Станчика и ксендз Казимир Кулак нас не предали.

В 44-м Станчика наградили боевым орденом Красной Звезды. Сам Калинин в Кремле вручал. И с новеньким орденом доставили его на Лубянку, где он, не выдержав пыток, погиб. Разрыв сердца. Разрыв печени. Разрыв селезенки. Про почки и говорить нечего. Откуда такие подробности? От следователя! Спустя много лет он, умирая в страшных мучениях, разыскал телефон Лешека, позвонил из больницы в Варшаву: «Я знал, что ваш брат не

шпион, а герой, поэтому допрашивал его с особой ненавистью. Простите, если можете!»

Лешек не смог. Не простил!

Весь штаб Станчика расстреляли в Налибокской пуще красные партизаны, рядовых бойцов рассовали по другим отрядам.

Зачем я все это пишу? Ихл-Михл, ты мне сказал: «И на глупый вопрос надо хорошенько подумать».

Некому над моими глупыми вопросами по-умному думать. Никого в живых не осталось: ни умных, ни глупых.

Веня, наливай! Еще полстакана теплой «Ржаной» под черный хлеб с подкопченной селедкой. Помяни партизанских товарищей. Почему фронтовые сто грамм у армейских снабженцев значились «продукт № 61»? Тоже вопрос на засыпку.

Какая разница, Веня? Главное, что этот продукт в граненом стакане, который ты держишь правой рукой. Вот и выпей за правое дело.

И помяни поляков. Как их отряд назывался? «Помсцим» («Отомстим»). Но бойцы Станчика себя гордо называли «легионерами». Песню их помню. Специально для нас по-русски пели:

Хорошо тебе, родная,

Орлов белых вышивать, вышивать!

А мы, бедные вояки,

Будем в поле в ряд стоять.

Только не стоять, а в сырой земле лежать. Кланяюсь вам до земли, *шановны панове!*

Станчик нас предупредил про карателей. Прислал Лешека, своего брата, – другому Ихл-Михл скорее всего (наверняка!) не поверил бы. Легко сказать: брось все, драпай, а я прикрою, сколько смогу.

Знаю, аварийные варианты у командира имелись – болота. Мы от них далеко никогда не уходили, все больше неподалеку ховались. Свои полищуки в отряде были, жерди, веревки, гужи, даже один надувной понтон из прорезиненного брезента. Откуда взялся-достался, не знаю.

Ну драпанули (что мы и сделали), а куда деть лазареты – простой и заразный? Инвалидов по старости? Слепых? Некоторые от тифа и от того термитного снаряда ослепли.

Я на том совещании штаба не был, но приказ объявили всем подразделениям: спасаться организованно, по боевой тревоге – две красные ракеты. Порядок следования: штаб, первая рота, вторая, третья, семейные. Без всего. Только вода и медикаменты. С неходячими остались Цесарский (от него и знаю, что дальше случилось) и медсестра Дина.

Юлий прекрасно знал немецкий язык. Может, немецкий и спас ему жизнь, когда он попал в плен под Белокоровичами. В июне 41-го окончил академию, а в августе попал в плен. Из Белокоровичей пленных погнали в Шепетовку. Здесь как собаки издыхали десятки тысяч пленных красноармейцев. Пять дивизий, не меньше, сброшено мертвыми во рвы. Воды и еды не давали. На

весь лагерь один колодец и ведро на веревке. Пили дождевую воду. До конца года умерло шестьдесят тысяч человек – пять дивизий, не меньше. Как Юлий выжил?

– Мне было легче, чем другим, определили в лагерьный лазарет, там хоть какой-то приварок был. Немцы мусульман почему-то отпускали. И всех украинцев поголовно, если не коммунист. Я, еще один врач и фельдшер организовали курсы украинского языка (я же хохол по матери), кое-как подучивали красноармейцев, и многие так спаслись. Но кто-то из наших же на меня донес. Утром фельдфебель приказал всему медперсоналу построиться на плацу, выволок меня за шиворот из строя и пистолет в зубы. Чтоб ты знал, Вениамин, я никогда не был храбрецом, думал в тот миг, как не наложить в штаны, не хотелось умирать загаженным. Не знаю, что на меня накатило: оттолкнул фельдфебеля и стал орать на него по-немецки: «Я – капитан Красной Армии, военврач третьего ранга! Какое право ты имеешь хватать офицера!» И он не выстрелил. А тех, кто донес на меня – двух доходяг из лазарета, – отвел в кусты и расстрелял. Вот тогда я и узнал фельдфебеля Отто Хюне. Он каждое утро выводил похоронную команду, а та вывозила трупы на тачках. Их сбрасывали в овраг, засыпали гашеной известью, потом закидывали землей. И сами похоронщики часто там же кончались. Хюне так и докладывал: подошли трое из похоронной команды... семеро... Потом мне жаловался: «Доктор, я больше не выдержу, подам рапорт, чтоб меня отправили на передовую». Крупный немец, с приятными чертами лица, огромными голубыми глазами – просто Гретхен мужского рода. Сын мясника. Но сам не мог и воробью голову оторвать. А прикажут – зарежет и свинью, и человека. До войны работал набор-

щиком в типографии, много читал, даже моего любимого Василя Стефаника. И мы подружились. Не веришь?

Я единственный раз не поверил Юлику Цесарскому. Не мог поверить, как можно подружиться с фашистом.

– Веня, я знаю, ты меня не выдашь. А я тебе больше скажу: я верил фельдфебелю Хюне больше, чем многим из наших. Он каждый день отпускал половину могильщиков, рискуя жизнью. К счастью, никто его не продал. Не знаю, почему он так делал. Отто часто приходил ко мне в лазарет, всегда с подарками. Раз в месяц немцы получали посылки из дома. И я попросил его написать жене, пусть пришлет бинты, марлю, йод, стрептоцид. А Отто попросил еще своих камрадов. И все медикаменты приносил мне. Иногда брал меня – пленного! – на прогулку. Бродим по лесу, грибы собираем, жарим на рыбьем жире. Было у нас одно местечко, как у Тома Сойера с Геком Финном, там мы прятали сковороду, ложки. Ходили по деревням, просили женщин помочь пленным кто чем может. И приносили, Веня!

И тут Цесарский вдруг так заплакал, как маленький, захлебнулся слезами. А ведь он тогда уже был генерал-майор медицинской службы, когда мне про Шепетовский лагерь рассказывал. Это было у него дома, на Фрунзенской набережной. Но быстро взял себя в руки.

– Да, местные приносили. Может, последнее у своих детей отнимали. Хлеб, картошку, сало, яйца. Комендант лагеря, обер-лейтенант, все аккуратно записывал в офицерскую записную книжку. Приказал все продукты сложить на плацу: отдельно сало, отдельно картошку, отдельно яйца, отдельно хлеб, потом облить керосином и поджечь. Господи, как мы все плакали! Тысячи пленных солдат! Как Христос на кресте! И никто из немцев не вос-

противился приказу. На этом наша дружба с Хюне кончилась. А он не понимал меня. «Julius, aber es ist Befehl! Jeder soll haben jawohl». Ты понял, Вениамин? «Юлий, но это приказ! Каждый должен иметь...» Как бы точнее перевести эту дурацкую фразу. Она и по-немецки-то дурацкая. Где он ее вычитал? «Каждый должен иметь внутри себя, в самом себе „так точно“, „слушаюсь“». Короче говоря: каждый немец должен всегда быть готов беспрекословно исполнить приказ. А вскоре Отто подал рапорт о переводе на передовую. И в первом же бою погиб. От его жены знаю. Я был у нее в Веймаре, еще открытку тебе прислал: Гете и Шиллер стоят на постаменте, как Маркс и Энгельс. Не помнишь?

Помню, Юлик, все помню!

Помню, когда каратели прорвались к нашему лагерю через польских легионеров Станчика, расстреляв в упор из пулеметов наше собственное прикрытие, ты к ним вышел с белым флагом (на флаге красный крест нарисован зеленкой) по полной форме, в полевой офицерской фуражке с зеленой звездочкой, в пенсне, со значком военно-медицинской академии и представился офицеру-эсэсовцу. По-немецки, конечно. Эсэсовец, конечно, спросил про партизан и евреев, но ты ответил противным, картавым, вороньим, безукоризненно офицерским фальцетом: «Herr Offizier, hier sind keine Partisanen, keine Juden. Hier sind nur Kranken. Sie sind vor Hunger sterben»[«Здесь нет партизан, нет евреев. Здесь только больные. Они умирают с голоду» (нем.)].

Господи, благослови того эсэсовца! Спасибо, Господи, за то, что они не все *такие*, даже эсэсовцы. Даже Мюллеры.

Когда мы вернулись, в лазарете были скелеты, но живые, никто не умер, а в болотах у нас трое отравились лишайником. Его надо долго вымачивать вместе с золой и варить, пока не получится студень. Но годится только лишайник серо-зеленого цвета; желтый – отравя.

Как же хорошо было евреям, которые шли за Моисеем! Сухо, тепло. Ни зимы, ни сырости, ни болот, ни вшей, ни крыс, ни полицаев, ни бульбовцев, ни гайдамаков с их страшными секирами. Обувка не снашивалась, одежда не рвалась, все сорок лет подраставшим детям все оказалось в размер. Еда? Каждый день манна небесная. Вода? Ударит Моисей посохом – хлынет вода, пей, сколько хочешь.

И за все эти блага и милости сделай, еврей, одолжение: следуй за Моисеем как иголка за ниткой и не ропщи.

Какими же после этого надо быть придурками, чтоб на таких условиях не согласиться славить Всевышнего всей душой, всем сердцем.

Моисей, мы сошли с ума, мы заблудились в трех соснах, не можем отличить левой руки от правой. Снова выведи нас!

Но ушел Моисей, опечалил Всевышнего. И поведал Всевышний архангелу такую притчу:

«Был у царя сын, который что ни день доводил отца до того, что родитель был готов прибить его; мать спасала сына от отцовского гнева. Но прошло время – мать умерла. Царь безутешно плакал.

– Государь наш, царь! Зачем ты так плачешь? – спрашивали владыку прислужники.

Отвечал царь:

– Не только жену я оплакиваю; плачу о ней и плачу о сыне моем; многократ я готов был убить его, и каждый раз мать спасала его от руки моей.

Так и Я: не о Моисее только плачу; оплакиваю его и плачу о народе израильском: ибо сколько раз огорчал Меня этот народ, вызывая гнев Мой, а Моисей заступался за него – и проходил гнев Мой».

Похоронил Всевышний Моисея, привалил глыбу к пещере, где великий пророк упокоился. Так когда-то затворил Гос подь за Ноем ковчег.

Печально завершается Тора:

«И не будет более в Израиле пророка, подобного Моисею, которого Господь знал бы лицом к лицу».

Но посох Моисея – он вот! Перед каждым евреем. Встань и иди. И никогда не заблудишься. И никогда усталость не обессилит тебя, и никакой враг тебя не одолеет.

Подумаешь, 613 заповедей! Если вдуматься, не такое уж это ярмо. Да ведь мы каждый день исполняем их сотнями, даже не задумываясь: не крадем, не убиваем, не предаемся блуду с родственниками, животными. Не ел... не брал... не участвовал... и т. д.

Конечно, есть несколько заповедей, которые я уж точно никогда не исполню. Например: «Когда будешь жать жатву на поле своем и забудешь сноп на поле своем, не возвращайся за ним – пусть будет пришельцу, сироте и вдове».

Даже праведный рабби Цадок не мог выполнить ее, хотя считал столь же важной, как все остальные, и горевал. Ведь нарочно забыть сноп, сделать вид, что у тебя склероз, нельзя: получится как бы взятка Всевышнему, а не исполнение буквы Закона. В конце концов рабби Цадок забыл-таки на поле своем пару снопов! Его радость была столь велика, что он устроил пирушку отметить такое событие.

А я где могу забыть сноп? Очки, бумажник, зонтик... все, что хотите. Но только не сноп. А поле? Где мое поле? Шашечница – вот мое поле. Кстати, многим ли известно, что «старик Державин» подарил лицеисту Александру Пушкину шашечницу? Знал Гаврила Романович, чем одарить юношу.

Во времена Александра Сергеевича вышла (тиражом в 100 экземпляров) первая русская книга по шашкам под названием «Руководство к основательному познанию шашечной игры, или Искусство обыгрывать всехъ въ простыя шашки». С интересным эпиграфом: «Nonny soit qui mal y pense» (что в переводе с французского: «Да будет стыдно тому, кто подумает об этом дурно»). Это девиз ордена Подвязки – высшей английской награды, учрежденной в 1350 году королем Эдуардом III: синяя бархатная повязка, которую носят на левом колене, и голубая лента через плечо, к которой прикреплен украшенный бриллиантами золотой щит со св. Георгием. Кавалеров ордена только двадцать четыре, не считая короля – гроссмейстера и трех официалов: прелата, канцлера, секретаря.

Имя автора шашечной книжки не указано. Но уж точно не Пушкин. Он, может быть, в это время обдумывал любимейшие мною «Повести покойного Ивана Петро-

вича Белкина», изданные тоже у Смирдина и тоже анонимно. Эпиграф – из «Недоросля», а первоначально было взято присловье святогорского игумена Ионы: «А вот то будет, что и нас не будет». Жаль, что Пушкин его вымарал.

Однажды в архиве мне попались дневники одного поручика, и в них любопытнейшая запись, как он навещил раненного на дуэли офицера и принес ему для чтения только что отпечатанные «Повести Белкина». Неделю спустя поручик записал отзыв: «Ну что, брат, тебе сказать про Белкина? На безрыбье и рак рыба».

Мне почему-то понравилось по-командирски прямое мнение. А я ставлю маленькую книжицу выше «Фауста» и совершенно согласен с покойным Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским, от которого слышал (и не я один) изумившее меня мнение: «“Повести Белкина” – это слава Богу за все!»

Любимица моя из пяти повестей первая – «Выстрел». С первой же фразы: «Мы стояли в местечке. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш или карты».

В основе «Выстрела» – случай с самим Пушкиным, стрелявшимся из-за картежной ссоры с офицером Зубовым. Александр Сергеевич встал под выстрел, завтракая черешнями. Зубов стрелял первым – промах; Пушкин вообще не стрелял. Какое счастье, что он никого не застрелил, не убил. Но я почему-то представлял себе вишни, а не черешни. Да это одно и то же.

И еще про вишни.

Адольф Эйхман своими руками никого не застрелил, не зарезал. Только один свидетель – Абрам Гордон – своими ушами слышал, как Эйхман приказал убить мальчика, укравшего со стола вишни.

А если бы мальчик не украл вишни? А если бы не вспомнил Абрам? Да просто до суда не дожил. Я видел его в кинохронике: вдруг замолкает, хватается за края трибуны и падает лицом вниз. Его выносят на носилках. А Эйхман протирает очки кусочком замши.

Смысл жизни еврея – свидетельствовать. Помнить. Не забывать. Не прощать злодеев. Такая специальная национальность. Спецнациональность. Специя. Соль. Вот для чего мы человечеству. Вот для чего я, Балабан – крупица соли.

Какое счастье, что для мацы не нужна соль! Бог знал, что делал. Но даже Он так и не решил, что делать с евреями. Вот и мне от них никуда не деться. Обрезание назад не пришьешь. Не тот пазл получится.

Вот ты заладил как попугай: помнить, свидетельствовать, не забывать. А ты сам когда-нибудь свидетельствовал по-настоящему, в суде, и чтобы от твоих показаний (только от них!) зависело бы решение суда: оправдать или казнить?

Ты же видел, как в Нюрнберге свидетель теряет сознание и падает. Ты видел, как помертвел партизан Аврум Суцкевер, когда по требованию советского обвинителя ему не разрешили свидетельствовать на идише. Потребовали, чтоб говорил по-русски.

Представь: вот поймали обер-лейтенанта Мюллера. Судят. А свидетелей нет. Ни одного. Только Эстерка.

– Свидетельница, где вы в тот момент находились? Покажите на схеме.

И что моя доченька Эстерка, больная диабетом, должна ответить? «Я лежала во рву, еще спросила: *"Дяденька, я правильно лежу?"*»

Не-е-ет!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

А обер-лейтенанта Мюллера разыскали все-таки. После долгих переписок, переговоров, сношений между Государственным департаментом США и Министерством юстиции Германии.

Наконец суд над дряхлым карателем в немецком городке Плэтцхене, откуда Мюллер был призван на службу.

Подсудимый не отрицает, что рапорт о расстреле евреев поселка Насыпное подписан им. Но он не отдавал приказа. Он только составил рапорт в штаб 14-го полицейского полка. Текст рапорта подтверждает его невиновность: перечислены автоматные и пулеметные пули, но ни одной пули из его личного оружия – маузера № 7717730, калибр 9 мм.

Судья:

– Разве личным оружием офицеров СС был не парабеллум?

– Я не эсэс, я – полицейский.

– Хорошо. Но все-таки, кто отдал приказ, если не вы?

– Не помню. Наверное, командир роты. Звание, фамилия? Не помню. Прошло столько лет.

– А номер маузера помните.

– Можно глоток воды, ваша честь, в это время я должен принять лекарство.

– Хорошо. Сейчас ваш адвокат задаст несколько вопросов свидетелю, и сегодняшнее заседание окончено.

– Свидетель Шапиро, вы настаиваете, что именно обер-лейтенант Мюллер командовал расстрелом?

– Да.

– И вы опознали его спустя столько лет? У вас отличная память. Вы точно помните его внешность, какие-то особые приметы?

– Шрам уголком на щеке.

– На какой щеке? Правой, левой?

– Кажется, правой.

– Вы ошибаетесь. Но это в сущности ничего не меняет. У многих солдат имеются шрамы на лице.

Браво, господин адвокат! Но если даже свидетель обвинения вспомнит нужную щеку, добивайте его вопросом: «Угол бывает прямым, тупым, острым. Какой именно был шрам у обер-лейтенанта Мюллера?» Но вы замечательный защитник, обойдетесь без чужой подсказки.

– А где стоял подсудимый: лицом к населенному пункту или к лесу?

– Лицом к траншее.

– Вот схема. Пожалуйста, точно укажите то место. Спасибо. А вы где в тот момент находились?

Молчание. Судья повторяет вопрос защиты:

– Свидетель, где вы в тот момент находились?

Абрам Шапиро хватается за барьер трибуны, чтоб не упасть. Лицо бледнеет. Серееет. Землистое. Щеки запа-ли. Глаза провалились в глазницы. Ледяной пот.

Свидетелю плохо. Нужна неотложная помощь. В за-ле, конечно, есть врач – для подсудимого. Еще есть со-ветский врач. Он быстро подходит к свидетелю, что-то спрашивает. Тот делает еле заметное движение головой.

А обер-лейтенант Мюллер, хотя тоже старик, дер-жится молодцом: лицо крепкое, подбородок волевой, вз-гляд твердый. *Facies heroica* – лицо героическое (оно же священный трепет). Любая война двулика: *facies Hippo-cratica* и *facies heroica*. А фамилии можно подставить лю-бые.

Чем я старше, тем глупее, пошлее кажется мне... не война (война – самое подлое изобретение людей), а три-буналы, суды, показательные процессы. И самый главный – в Нюрнберге – тоже: со всеми судьями, адвокатами, экспертами, переводчиками, репортерами, кинохроникой, конвоирами, тюремщиками, кастеляншами (надо же ме-нять белье и мыть в бане подсудимых, кормить три раза в день – для этого нужны повара, шоферы и др.), с изде-вательскими процедурами (вроде того что сначала надо удалить гнойный аппендикс или зуб, раздувший десну, а потом уже повесить; похожее было с Николае и Еленой Чаушеску: врач измерил им давление, потом их расстре-ляли), со священниками (а они обязаны отпустить грехи грешнику), специальным палачом с его специальным па-лаческим реквизитом, чтобы вздернуть злодеев, признан-ных за десять месяцев сложнейших юридических разби-рательств, слушаний, доказательств, допросов, просмо-тра миллионов документов, приказов, стенограмм, фото-

графий, километров кинолент, инструкций и т. д. и т. д. – в и н о в н ы м и. Как будто это с самого начала было не ясно, как будто это стало великим открытием. Как будто миллионы людей весь этот ужас не своей шкуре не испытали, а д е с я т к и м и л л и о н о в так и не смогли т а к о е п е р е ж и т ь.

Но ведь с этой мразью вели переговоры главы европейских кабинетов, им оказывали государственные почести, над Кремлем во время их визита взвился флаг со свастикой, Сталин предложил тост за здоровье Гитлера. Мир восхищается бандой людоедов: Гитлер открывает Олимпийские игры, Гиммлер возглавляет Интерпол, Геббельс приветствует Берлинский кинофестиваль. А ведь мир не мог не знать, что автор «Майн кампф» (переведенной на русский Карлом Радеком для партийной верхушки) – преступник, его срочно (cito!) надо изловить и повесить на первом же суку.

Люди ничего не поняли. Даже евреи.

Абрам Шапиро-Заборчик понял, когда увидел ров и ряд голых трупов. И Юлик Цесарский понял в лагере для советских военнопленных в Шепетовке. И вот они встретились в городке Шаудер, в зале суда с кондиционером, но им не хватает воздуха.

Не гром гремит насчет скончанья мира,

Не буря барсом бродит по горам —

Кончается старик Абрам Шапиро —

По паспорту – конечно же – Абрам.

Борис Слуцкий имел в виду, конечно же, не нашего Шапиро. Но обер-лейтенант Мюллер имел в виду, конечно же, его. Нашего Шапиро-Заборчика.

Как я уже говорил, мацу у нас пек Копылович. Но мука – не его забота, а Берла Куличника, он отвечал за все хозяйство. И хотя Ихл-Михл говорил: «Пусть о нашем довольствии у мужика голова болит», но больше всего она как раз у Куличников болела. Им ли не знать: за каждый мешок, за каждую жменю зерна, картофелину, курку, яйцо расплата была человеком. За каждый оклунок муки – чья-то жизнь. Им ли не знать, сыновьям мельника.

Да, мацу пек Копылович. Пузатый, с грыжей, лохматый, носатый, как клоун, в широченных штанах на подтяжках, всегда зачем-то желтый коленкоровый метр на шее.

Раньше не приходило в голову... *Мюллер* – по-немецки мельник. Но Мюллеры перемалывали жизнь. А Куличники перемалывали смерть.

Хлеб за спасибо никто не даст.

Хорошая мельница была в Рафайловке – вальцовая, двухэтажная, молола зерно для немцев и окрестных крестьян: с пуда муки хозяин брал себе четыре килограмма и одно яйцо. Но партизаны грозились ее сжечь как пособницу оккупантов. Вот Ихл-Михл и наложил на мельника контрибуцию: шесть пудов в месяц – за охрану. Охотников охранять вызвалось много: сыт, в тепле, на полном довольствии. А что воевать придется за мельницу, никто не подумал.

Идл отобрал Гиндина – ему за громадную величину в хорошей армии пять порций полагалось бы, вот пусть его в Рафайловке подкормят; вторым в расчете стал шабес-гой Дрыгва-Корова, но «Коровой» его позже прозвали, когда доставил в лагерь «контрибуцию» на корове: «Це корова на завтрак».

Шесть пудов – это два оклунка, холщовых двойных мешков с широкими прочными лямками. Муку же от Рафайловки до лагеря тащить тридцать верст, не по шоссе, а по кривинкам, тропинкам, кочкарнику. Зимой на санках, остальной сезон – на горбу. Хорошо верблюду, у него два горба, а мы – одногорбые. Значит, две ходки идти. Доставка тоже входила в обязанность боевого охранения. Дыскин и Дрыгва между собой чередовались.

В декабре 42-го тащить мешок досталось Дрыгве. Вдруг на снегу – коровий след с кровавыми кляксами. Подумал: может, волки задрали корову? Такое дело надо разведать, у него же наган и граната за валенком. И нашел по следам ту корову – заблудилась в лесу, рог обломала, видно, неловко упала, споткнулась о поваленную лесину.

В общем, приспособил Дрыгва ту корову под вьючное передвижение и заявился в лагерь, как тракторист на тракторе: «Це корова на завтрак».

А корова оказалась полицаева. И тот полицаи с другим полицаем ее искали, и тоже по крови из обломанного рога вы шли к нашему лагерю. Хорошо, что вовремя заметил с верхушки сосны дозорный, выстрелил красной ракетой, поднял тревогу. А те дурни не догадались белые повязки снять с черных шинелей. Обоих застрелили.

Конечно, пришлось бы по той же тревоге сниматься с места, ведь пропавших стали бы искать. Два полицаи с

винтовками – это тебе не корова. Но нам повезло: настоящий новогодний снег повалил и шел два дня, не переставая.

Еще про мацу...

Сын Копыловича тоже печет мацу. В Израиле. Обратите внимание на упаковки, которые в России на *Песах* раздают бесплатно: две пачки мацы на одного еврея. Там крупно написано: «Герц Копылович». Это сын нашего партизанского Копыловича из Чярнух.

А сын Герца даже не кончил школу. Сопляк! Вбил себе в голову, что Израиль ему слишком мал. Надо же! Целый миллион советских евреев влез в страну, как в трамвай, а ему показалось тесно. Уехал в Канаду, хотя и отец, и дед были против. Но когда евреи слушались своих родителей? Даже Талмуд примером, как надо чтить отца и мать, приводит не еврея, а какого-то гоя из городка на берегу Средиземного моря, где живет Эстерка, где родилась наша внученька Идочка. Лепит куличики из песка в песочнице и сажает цветы под окном на новенькой, игрушечной улице Адама – первого человека.

Одни говорят: Господь сотворил Адама из глины; другие: нет, из земли. А для меня Адам сотворен из земли, в которую зарыты евреи, из которой выбралась наша Эстерка. Она драгоценнее для меня, чем драгоценные камни. Но и о них самое время вспомнить.

В давние времена жил ювелир Дама Бен-Нетин. Случилось однажды, что из нагрудника первосвященника, украшенного двенадцатью дивными самоцветами, выпала

и разбилась яшма, и не могли отыскать во всем Израиле подобную ей. Но кто-то сказал: она есть у Бен-Нетина.

Мудрецы пришли к нему в дом и спросили, сколько он хочет за камень. «Сто динаров», – назвал ювелир свою цену и пошел в кладовую, но увидел, что на сундуке с драгоценностями спит отец. Сын не стал тревожить родителя, вернулся к покупателям и сказал, что не может продать яшму. Те предложили двести золотых монет, четыреста, тысячу! Но он не продал камень.

Мудрецы ушли, а вскоре проснулся отец. Тогда Дама Бен-Нетин догнал мудрецов и отдал им яшму. Те отсчитали тысячу золотых, но ювелир взял только сто: «Я не продаю своего уважения к отцу и не хочу извлекать из этого выгоду».

Поучительная история.

Но мне известна еще поразительнее. Про моего друга Бориса Израилевича Шапиро. На самом деле отец назвал его Барух – «Благословенный». Но в загсе отказались записать еврейское имя. С 1943 года на территории РСФСР разрешались только русские имена, либо нейтральные, без национальной окраски. Понятное дело, имя Барух никак нельзя отнести к нейтральным.

Израиль Шапиро умер в 1976 году. Просил, чтобы его кремировали в Москве, а прах предали земле Израиля. Все равно что попросить решить задачу с квадратурой круга. Борис – замечательный физик и математик, но будь он хоть сам Пифагор! А задача, заданная отцом, оказалась принципиально невыполнимой, ибо иудаизм запрещает кремацию евреев.

Борис прошел все пути: похоронные бюро, адвокатов, раввинаты, главного раввина Израиля, Министерство иностранных дел, слушания в кнессете, аудиенцию у премьер-министра Голды Меир. Нет, нет, нет! Израиль – это вам не Востряковское кладбище, чтоб хоронить московских евреев. А главный аргумент, твердыня: тело сожжено по сознательной воле покойного; таким образом, он нарушил Завет и тем более не может быть погребен в соответствии с еврейской традицией.

А Боря приводил раввинам свои доводы. Недаром же он Шапиро. А эта фамилия происходит, как я слышал, от «сапир» не то «шафир» – жучок-камнеед. Блоки для Первого Храма тесали не молотом и скапелью – железо не должно было прикасаться к камням Первого Храма. Каменотесов заменил сапир-шафир, жучок-камнеед. Одним словом, раввины возводили против Баруха Шапиро каменные надолбы аргументов, а он сокрушал их один за другим.

Возражение первое. Израиль Шапиро был в плену у красного фараона.

Возражение второе. Израиль Шапиро происходит из благочестивой семьи, он мечтал переехать в Израиль, но не успел. Намерение предшествует поступку и в случае смерти должно рассматриваться как начатое, но не завершенное дело, как если бы мой отец умер в пути.

Возражение третье. Израиль Шапиро был набожным человеком и всей своей жизнью подтвердил глубокую веру в Бога и свою праведность. Он был убежден: Тот, Кто может поднять человека из праха, может поднять его и из пепла.

Верховный суд справедливости счел такой аргумент «необходимым и достаточным».

Праха Израиля Шапиро – в земле Израиля, на его могиле растет кипарис. Будьте благословенны, сыновья, подобные Дама Бен-Нетину и Баруху Шапиро.

И вы, непослушные дети, тоже будьте благословенны.

А я не исполнил отцовскую волю.

Папа, прости, что гроб не несли на руках через весь город, как ты хотел. Но твоя смерть вернула меня в еврейство, в дом Авраама, Исаака, Иакова, который я оставил мальчиком и куда вернулся стариком.

Я вспомнил идиш бабушки, дедушки, мамы, по субботам хожу в синагогу. Папа, я думал: вот, провожаю тебя в последний путь, а оказалось: это ты вывел меня на дорогу. Нет последних путей. Бесконечна дорога живущих.

Вспомнил!

Мельницу в Рафайловке охраняли не двое, а трое, караул по всем правилам: два часа ты на посту, затем тебя сменяют, но ты не спишь – ты еще два часа внимательно бодрствуешь, а потом уже два часа отдыхаешь. И снова на пост.

Старшим Идл назначил Гиндина, вторым номером – Дрыгву, а третьим, по требованию женщин, Аврама Шапиро, прозвище Абраша-Заборчик.

Не может быть, чтоб я про него забыл.

Когда после Песаха 43-го умер реб Наумчик, Сара-Малка не голосила. Ее всю перекошил инсульт. Язык застрял во рту, как яйцо. Но когда Абраша-Заборчик первый раз обложил матюгами Сару-Малку, она так голосила!

А кто знал Абрашу в Воложине, больше всех удивлялись. Тихий мальчик необыкновенных способностей. Про него даже писали: вундеркинд из Воложина. В одиннадцать лет решил какую-то нерешаемую задачу. В двенадцать принят без экзаменов в Минский университет. На каникулы приехал к бабушке в Раков в августе 41-го. Не рассчитал. На следующий день местечко заняли немцы.

А после расстрела у мальчика жутко испортился характер. Такое случается, если конечно человек остается живым. Моя троюродная сестра Сталина Кравченко (по мужу), чуть что недослышит, сразу в крик: «Что, Гитлер?»

Сын говорит:

– Мама, иду в булочную. Что тебе купить?

– Что, Гитлер?

Лучше не спрашивать.

Глупые дети пишут на заборах слово из трех букв; подрастут – перестанут. А Абраша Шапиро наоборот: вдруг стал материться через каждое слово. Его и прозвали Заборчик.

Сара-Малка Наумчик и Элькина, делегатка от женщин-хасидок, просили Куличника выгнать Заборчика к чертовой матери, хоть снова выдать полициям. Потому что дети же берут с него пример, он же взрослый, в *кипе, талесе* – четырнадцать лет человеку, пора остепениться.

Но наш командир дал великую клятву принять в отряд любого еврея.

– Женщины, хотите, прямо на ваших глазах застрелю паршивца? Но прогнать не имею права.

Короче говоря, все Заборчика сторонились как заразного. Даже те, кто спал с ним на одних нарах. Только Дора Большая, Изя великий охотник и Дрыгва-Корова с ним знались.

Но он же, Абрам Шапиро, можно сказать, нашел средство от вшей. Как часто бывает в науке, случайно. Сел, не глядя, на муравейник. Они и забегали по нему. Скинул он рвань свою и стал их сгонять, они же его всего искусаи. А стал одеваться, в портках – ни одной вши.

Заборчик рассказал Изе-охотнику, тот все повадки лесные знает. Но Изя затылок поскреб, засомневался. Нашел большой муравейник (в сосняке их много), накрыл кожухом. Пока свернул козью ножку, пока трут запалил, пока покурил, еще какую надобность справил, – муравьи подчистую всех паразитов истребили или перетасили в муравейник. У них там чего только нет: хвоя, труха древесная, живица, земля, трава, веточки, листья. Я потом сам на себе проверил Заборчиково открытие. Даже предложил переименовать его из Заборчика в Мурашку. Не поддержали. Но Берл Куличник премировал Шапиро трехлитровой кринкой молока. Собралась вся мелюзга: Мамкины, чярнухинские, новогрудковские, фастовские, всякая прочая разная босота попробовать молочка.

Когда женщины узнали, что снаряжается пост охранять мельницу, тут Заборчика и геть из отряда в Рафайловку. Да он не особенно и кобенился.

Прочитал недавно Андрея Платонова «Город Градов» и там с радостью встретил мацу:

«Секретарь приткнулся к Шмакову и прошептал вопрос:

– Вот вы из Москвы, Иван Федотович! Правда, что туда сорок вагонов в день мацы приходит, и то будто не хватает? Неужто верно?

– Нет, Гаврил Гаврилович, – успокоил его Шмаков, – должно быть меньше. Маца не питательна – еврей любит жирную пищу, а мацу он в наказание ест».

Не в наказание, Шмаков! Всевышний дал нам два великих подарка: субботу и мацу.

Я еще помню ту, что дедушка приносил из синагоги, ее пек старик Копылович – отец того Копыловича, который нам в лесу пек мацу, и дед Герца Копыловича, который целые вагоны мацы бесплатно отправляет в Россию.

Хороша израильская маца. Но с той, чярнухинской, не сравнится: та была огромной, толстой, прожаренной, твердой, ряды проколов, как книга для слепых. Маца и есть хлеб для незрячих. Или, наоборот, прозревших.

Знаю одно: это хлеб, вложенный Господом в руку еврея. Как пропитание и напоминание: помни, ты был рабом, голодным, обездоленным.

Многие это забыли. Забыли, что обязанность еврея – быть благодарным Всевышнему.

Я и сейчас слышу хруст мацы под ногами евреев, когда они выбирались из тесно составленных в длинный ряд – в три ряда! – столов, накрытых в синагоге в пас-

хальный седед. Послушали раввина Фишмана, выпили, хорошо закусили. Пора покурить, поговорить о делах.

Только маца под ногами хрустит. Так оскорбленно и грозно!

И вспомнил я Притчи Соломоновы: «Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко».

И так еще понял я притчу: много евреев, откормленных, как свиней, великой мудростью, но не потрудившихся поверить, понять, исполнить хоть крошку великой веры и знания, зато их распирает: мы – народ Книги, мы дали миру... А что ты сам дал миру?

А ты, Веня?

Интересный вопрос. Я подумаю.

Я действительно думал всю ночь. Лежал, думал. И улыбался.

Во времена Пушкина и Гоголя жил в Москве знаменитый игрок Иван Петрович Селезнев по прозвищу Хромой.

От него осталась одна-единственная партия – «косяк Хромого», где он, играя черными, блестяще разгромил соперника. Он мог с первых же ходов указать, какой цвет выиграет. Вот и я теперь могу.

Всю жизнь продумал над вторым ходом белых ed4 (1.gh4 ba5). Великим, неожиданным, гибельным. Архигибельным! Белые обречены. Но они не знают этого, как праздничные, нарядные Помпеи, *чем* грозит им извержение Везувия. В этой обреченности невыразимое величие.

Полуход ed4 я посадил как семечко вот здесь (стучу костяшками себя по лбу), оно выросло громадным деревом, где я вижу, как созревает каждый сук, ветвь, развилка, веточка, лист, стебель, черенок, прожилки каждого листа. И все это звучит во мне тысячами струнных, медных, клавишных, органных. У каждого хода звучание, перемена гармонии. Эта партитура бесконечности переполняет мое сердце радостью.

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

О, нет! Гетевское (точнее фаустовское) восклицание, восхищающее столько поколений ученых немцев, есть ф о р м у л а м е р т в е ч и н ы.

Прекрасное неостановимо – вот ф о р м у л а п р е к р а с н о г о.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

А так хотелось толкнуть дверь с настоящей дверной ручкой, коснуться ладонью старинной серебряной мезузы на косяке и прижать ладонь к губам, как в детстве, когда папа еще не завел общую тетрадь для конспектов по «Краткому курсу истории ВКП(б)», а был, как его отец, хорошим скорняком. Но меня всего несколько раз вызывали в штабной блиндаж.

Стены блиндажа – сосновые бревна, законопачены несъедобным мхом, потолок бревенчатый, ступени – дубовые плахи, пол утрамбован, настелен лапником. Дыши витаминами, Веня. Но все перебивает табак и самогон.

Каганец коптит. Вокруг фитиля – радужный круг гало, как описывают его полярные путешественники.

На столе из горбыля медный чайник с костра. Чай, видно, попили, теперь перекур: трофейная немецкая «Прима» и папиросы «Три богатыря».

– Значит, ты и есть Балабан?

Спрашивает человек лет сорока, но могу ошибиться. Бледный, под глазами чернота от недосыпа. Черноволос, гладко зачесан назад. Командирская гимнастерка, широкий шеврон на рукаве спорот, и на груди не выцветшие пятна от двух орденов. А серебряный «Почетный знак ВЧК-ОГПУ» не свинчен. Видно, он ему дороже орденов. Туго затянут портупеей; как важный пакет, весь проконвертован.

– Закуривай.

– Можно две, товарищ...

– Там-бов, – диктует он по слогам.

Уверен, ему только сейчас такая фамилия в голову пришла. В смысле: «Тамбовский волк тебе товарищ, гражданин Балабан». Понимаю, военная хитрость. Так и я не скажу, для кого вторая папироса.

Такая радость – чиркнуть настоящей спичкой по коробку.

Тамбов сгоняет ребром ладони хлебные крошки. Из планшета достает два листа настоящей белой бумаги. Отвинчивает колпачок самописки.

– Фамилия, имя, отчество.

– Балабан Вениамин Яковлевич.

– Национальность? Ясно. Но для уточнения.

– Еврей.

– Дата и место рождения.

– 1917-й год, Чярнухи.

– Ты по-русски отвечай. Город, село, станция, аул?

– Райцентр.

– Партийность?

– Не состою.

– Смелый боец, – аттестует меня Куличник. – Пришел с личным оружием, двуствольной ракетницей.

– Редкое оружие, – замечает Тамбов.

– Морально устойчив. Мастер спорта по шашкам. Чемпион Белоруссии. Инициативный.

– Да уж наслышан про твою инициативу, шашки-башки. Куличник, ты выдь, распорядись покормить моих автоматчиков.

И тихо, на ухо Ихлу-Михлу, но не учел мой музыкальный слух: «С моими хлопцами досмотри вещички *этого*. Волосинки не пропусти, каждый шовчик, где и вошь не поместится. Хлопчики знают».

Командир зло разогнал гимнастерку под офицерским ремнем, но вышел.

– Давно воюешь?

– Как немцы напали, так и воюю.

– А теперь внимательно посмотри.

Из крафтбумажного конверта Тамбов достает пять фотографий, как с доски почета, 6х9. Все приблизительно лет тридцати.

– Ну?

Конечно, я *своего* фрица сразу узнал: четвертый. Почему-то по лицу видно, что он выше всех.

– Этот.

– Не путаешь? Точно?

– Да уж не путаю.

Прячет снимки в конверт.

– Теперь встань, скинь все, как у доктора, только ягодицы не раздвигай. Ты же в жопу ничего не засунул? А вот куда? Це трэба шукати. Не может такого быть, чтоб ничего не было на человеке.

Почему? Вот у меня теперь как раз ничего: портки вонючие скинул, рубаха нагольная, ватник, желтые сапоги с тремя парами портянок.

– Обувка с него? Это я у тебя конфискую.

– А мне босым ходить?

– Какой размер носишь?

– Сорок первый.

– Как я. Значит, шухнемся.

Он правда стаскивает яловые сапоги, ставит за ушки рядом.

– Портянки себе оставляю.

Так и остается во фланелевых портянках, аккуратно заправив уголки под навертку.

Каждую мою портянку прощупывает сухими быстрыми пальцами, каждую проглядывает на свет каганца. Все шесть. А я рассматриваю свои ноги – они даже чище, чем руки. Наконец возвращает мне портянки. Наворачиваю самые свежие и натягиваю «тамбовские» яловые. Самый раз.

Тамбов протягивает мне кружку с недопитым самогоном.

– Полей.

И подставляет ладони ковшиком, моет каждый палец, как хирург перед операцией. Насухо вытирает платком.

– Поехали дальше.

Еще пакет, в таких продают фотобумагу. Тоже пять 6х9. Но все в немецкой форме.

– Внимательно гляди.

Гляжу. Закрываю глаза.

– Перетасуйте их заново, товарищ Тамбов.

Хмыкает, но тасует. Опять выкладывает.

– Второй.

– Точно?

– Ага.

– Откопали мы его с вашей врачихой. Толковая. А труп четыре ваших партизана еле вытащили, да еще мои хлопцы помогли. Метр девяносто два, это рост. А вес прикинули – центнер.

Легко встал.

– Вставай, вставай. Бей! Со всей силы.

Тамбов даже не уходит от ударов, а движением корпуса обманывает мои кулаки. И без замаха, просто обозначил удар в солнечное сплетение, но я хватаюсь за стол, не могу вздохнуть, круг гало перед глазами.

– Это, партизан, я шутя. А вот как ты его завалил, тут шарада. Не мог ты, Балабан, такой удар нанести. Не мог, понимаешь?

Не мог, а нанес.

Тот фриц не держал удар. Николай Королев держал. А Шоцикас нет, хотя был чемпионом Европы. Помню его бой с Юшкенасом. Такой увалень. И вдруг бьет боковым в челюсть – и Шоцикас на полу. На «девять» только голову приподнял. Аут! По-моему, чемпион после того нокаута больше не выходил на ринг.

Великое дело – держать удар.

Как-то в Пицунде, в Доме творчества кинематографистов... Нет, я не член их творческого союза, хотя по моим сценариям сняты две научно-популярные одночастевки про шашки (их крутили в фойе перед сеансами в зале). Еще в производстве придуманный мной мультфильм «Апофеоз войны»: всем известная груда черепов с картины Верещагина превращается в головы, в людей. Каждое лицо находится на экране десять секунд, как диапозитив. Оказывается, это невыносимо долго.

Фильм отснят, но никак не озвучат. Предлагают Мусоргского «Песни и пляски смерти», «Всенощную» Рахманинова, оратории Генделя, реквиемы (Палестрины, Моцарта, Керубини, Берлиоза), «Плач по жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендерецкого. А может, не надо озвучивать?

В общем, путевки в Пицунду я для нас с Идой по блату достал.

И вот кручу в тренажерном зале велосипед. Вдруг влетает хулиган лет шести, обежал все тренажеры, грохнул железными грузами, все включил-выключил и уставился на меня.

– Сколько вам лет?

– Шестьдесят один.

Даже не верится, что я был таким молодым, занимался на тренажере.

– Никогда не видел такого древнего лица. А чего это вы делаете?

– Занимаюсь физкультурой.

- Так вы же ногами крутите, а надо ставить удар.
- Зачем? Я ни с кем драться не собираюсь.
- Вы-то не собираетесь, а вам как треснут!

Правильно, пацан, ставь удар! Но еще важнее – научиться держать удар.

Каждый боксер отрабатывает бой с тенью. Обязательно. Это основа основ: бег, отработка удара, скакалка, бой с тенью. Но кому придет мысль, что тень сама нанесет удар: прямой правой в челюсть и крюк левой в голову. И – аут.

Мало кто умеет держать удар. Из всех, кого я знал, самым непробиваемым оказался Скрыпник.

Его сыночку первому сделали обрезание. *Моэлем* (тот, кто делает обрезание) он позвал Хайма Бровастого, своего земляка из Лиозно. У Хайма левая бровь смоляная, правая – сивая, не просто седая, а волос какой-то конский. Что за болезнь такая?

Хайм был скорняком и шорником. До его прихода в отряд все шкуры и кожу выделывали только хасиды, у них были свои колоды дубовые, ведра, куда все мочились.

Хасиды на Хайма плевались. Дознались, что он до войны кабанов у мужиков колол, а шкуру свиную себе брал. Как будто он людей резал! Одним словом, не кошерный еврей, да еще его мать монашки-кармелитки крестили.

Хасиды, объяснили бы вы немцам такое дело, а то они обсмолили всю семью Хайма, а он не догорел, спасся.

Вот Хайм Бровастый и сделал обрезание сыну Скрыпника, партизанскому первенцу, первому еврею, обрезанному в Глыбенской пуще. И до него рождались, но до *брит-милы* не доживали. А тот уже прожил на белом свете целых восемь дней.

Малыша назвали Бен-Цви – Сын войска. Вроде как «сын полка», но не точно, ведь у Бен-Цви были родители. Правда, недолго.

Узнав, что жена родила сына, Скрыпник ушел в самоволку, никого не предупредив. После выяснилось, что он на что-то выменял на хуторе торбу муки, жменю сушеных яблок и баночку меда. Хотел жене и сыночку устроить праздник. И напоролся на полицаев. Отстреливался, но его смертельно ранило.

Первым про это узнал Маркс Брайнин. Был такой, родители назвали его в честь Карла Маркса. Хорошо еще, не «Капиталом». Такие примеры тоже известны.

Всех переполошил: «Нашли Скрыпника. Под обрывом».

Обрыв – это страшный овражище, там весь наш лагерь мог сховаться. Но если полицаи или сичевики обнаружат, никто не выберется оттуда живым. Ловушка.

Когда со Скрыпника сняли фуфайку и всю одежду, нашли место пулевого удара в сердце. Его двумя разрывными пулями ранило. Первая перебила голень. Он бы,

может, где и сховался, но ведь снег, опасался, что по крови дознаются про наш лагерь. Вот и уводил полицаев к обрыву. Отстреливался до последнего патрона. Даже мертвый не выпустил обрез, знал, что в отряде нехватка оружия. И с пробитым сердцем сам бросился с обрыва.

Обрез передали Берлу, – Скрипник числился во второй роте командиром отделения. А продукты – Циля Скрипник и ее сыночку. Циля оставила мед и сушеные яблоки, а муку отдала раввину Наумчику – на мацу, у нас же не было мацы, не то что сейчас. И ребе с благодарностью принял.

Наш хлебопек Копылович поскреб под кипой:

– Простите, ребе, но эта мука с кровью, а еврею же такое никак нельзя.

– Хвала Всевышнему, что не вода попала на муку, иначе бы она заквасилась и была бы для мацы уж точно негодной. Спасибо, Копылович, что напомнил: Всевышний велит нам *жить* по Его законам, а не *умирать* по ним. Так что испеки нам доброй мацы.

Где он теперь, Бен-Цви Скрипник? Знает, с какой высоты падал его отец? И на какую высь вознесся? Все тела (кроме людских) падают с одинаковой скоростью. Но ни одно тело не возносится. Лишь человеки.

Тамбов продолжает меня допрашивать. Хоть бы самогона предложил, чем руки им мыть.

– Не мог, понимаешь? Вспомни, может, он хоть выругался, какое-то слово сказал?

– *Штайн*. Это точно. А первое слово я не расслышал. *Копф... копф...* И еще: *кайн*.

– Может, *копфштайн*? Булыжник?

– Может.

– Немецкий учил? Ну-ка, напиши здесь. Через «s». Немецкое «s» перед «t» читается как «шэ», и пишется соответственно.

Я зачеркнул лишние, осталось: *Kopfstein*.

– Теперь еще раз, без поправки. И подпись. Как говорится, «исправленному верить». И дату поставь – 12 мая 1943 года.

– Товарищ Тамбов, немец, наверно, подумал, что я камнем ударил.

– А ты чем? Свинчаткой?

– Кулаком.

– Этим вот *фаустом*? [*Faust*– кулак (нем.).] Прямо по Гете у нас получается. А мне теперь пальчик за пальчиком разгибать этот самый кулак. Плохо получается, Балабан: труп есть, а фактов нет. Был в Германии? Встать!

И взглядом сверлит: смотреть в глаза, когда спрашивают.

– Чего я там забыл?

– А вот это мне и придется выяснить. Значит, в Германии не был, говоришь. А в Столбцах?

– Где это?

– Ну, не был и не был. Иди, зови командира.

Солнышко. Хорошо. Еще бы выпить, закусить, закурить. Но не предложено Балабану. Хорошо, хоть три сигареты добыл и одну папиросу.

Ой, Веня, не к добру этот Тамбов. И что за фашист такой, что его из земли выкопали, взвесили и измерили.

Вот тебе и фауст. Вот тебе и Гете вместе с Шиллером.

Через много лет, уже сам став дедом, узнал: у Гете был сын Август (незаконнорожденный), добропорядочный бюргер, которому законная жена родила двух сыночек. Так что правнуки Гете вполне могли голосовать за Гитлера. Всего сто лет разделяют события: умер Гете – да здравствует фюрер. Интересно: кто больше объединил Германию – Гете или Гитлер?

Гете знал, чем закончит Германия. «Судьба однажды накажет немецкий народ. Накажет его потому, что он предал самого себя и не хотел оставаться тем, что он есть. Грустно, что он не знает прелести истины; отвратительно, что ему так дороги туман, дым и отвратительная неумеренность; достойно сожаления, что он искренне подчиняется любому безумному негодяю, который обращается к его самым низменным инстинктам, который поощряет его пороки и поучает его понимать национализм как разобщение и жестокость».

Прав был Гете, напророчив немцам наказание. Только хотелось бы знать, что он имел в виду под наказанием? Нельзя же целый народ, как расшалившегося школьника, поставить в угол или на коленях стоять на горохе. Народ нельзя посадить в тюрьму, хотя в принципе такое возможно. Конечно, такую тюрьму не построишь. А вот концлагерь можно. Опутать всю Германию колючей проволокой, поставить сторожевые вышки с пулеметами, рассчитать, сколько нужно еще крематориев вдобавок к тем, что немцы уже построили для других. Вот пусть и строят. Самообслуживаются.

Но такое никакой немецкий пророк провидеть не мог. Тогда что он имел в виду? Нюрнберг, где повесят дюжину негодяев? И это называется наказание?! Нет, господин тайный советник Иоганн Вольфганг Гете, *возмездие* окажется страшнее, когда Красная Армия дорвется до немецкого мяса. А вы думали, что солдаты придут к вам домой с марципанами?

Помню 9 Мая 1967-го. Тогда это был еще праздник всего советского народа.

Мы ехали с моим товарищем и его армянским родственником, богатырем с закрученными буденновскими усами, в солдатской гимнастерке, гремевшей медалями и орденами. Автобус двигался какими-то рывками: улицы заполнили люди.

– Паруйр-р, а эти пачэму говорят не по-русски?

На эти раскаты «р-р» все устремили глаза, словно фронтовик всех сразу спросил. И на двух молодых немцев уставились, те примолкли.

– Манук, они говорят по-немецки, потому что они немцы.

– Нэмцы? Смотри: он нэмэц, да?! Он ар-р-мянин!

И, видя, что мы не понимаем его, заорал:

– Нэ понымаэш? Спроси, когда он родился. А в сорок пятом я его маму ебал! – И каждое слово вбивал кулачищем в железную грудь. – Я! Тэпэр панымаэш?

Мы сошли. А немцы поехали дальше. И вот таких – от русских, армян, татар, грузин, казахов, евреев – немки

родили больше миллиона детей. Сейчас они взрослые, у них самих дети, на четверть советские.

Никогда больше немцам не быть чистокровными. Никогда! Это вам за Нюрнбергские законы об «охране немецкой крови». Но у войны свои законы. И первой добычей солдата становится женщина.

Дора Большая нам не добыча. Она – наша новогодняя елка. Мы все украшаем ее, а она для нас наряжается: бусы из желудей или лещины, приколка для волос из коровьего рога, серебряное колечко с алмазиком, вынутым из стеклореза, разноцветные ленты.

Папироса «Три богатыря» – тоже Доре. Ведь моя Ида не курит. А к Доре не с пустыми же руками идти! С какой-нибудь едой, куревом, дровами, спичками (хотя бы одной). Но можно с пустыми руками: Дора Большая добрая. Любит нас, жалеет нас, даже обстирывает.

Красивая. Крупные глаза фиалкового взгляда, перламутровый перелив лица. Вся – сухой жар, как тифозная. Выплавляет из тебя, как тол из бомбы, ненависть, страх. Ты разминирован. И прижимает твою стриженую голову к большой груди: «*Ингеле*». Мы все для нее *ингеле* – мальчики.

Когда-то у нее был свой мальчик. В Домачево. Там, в гетто, он и остался мертвый. А второго она вынесла в себе, бежала с ним вместе из гетто. Она очень любила детей, была воспитательницей детского дома, а муж – поваром ва го на-рес то ра на на железнодорожной станции Брест. Что с ним стало, неизвестно. А про отряд Куличника она услышала в гетто и, когда сумела сбе-

жать, пробиралась лесами, как зверь. Ребенок у нас родился, но до обрезания не дожил.

У шалаша Доры, как часовой, вышагивает петух с отмороженным гребнем. Зло косится на Идла, играющего на губной гармонике.

На женщин петух не злобится. Но женщины к Доре редко заходят. Да и мужчины иногда натягивают ушанку на нос, чтоб не узнали. Хотя Изя-охотник и по следам может сказать, кто куда ходит.

А Идл играет. Из шалаша же слышно, что там внутри делается. На суку чей-то картуз с красной ленточкой. Кто-то на приеме у Доры есть. Идл следующий.

– Идл, мне только папиросу передать.

– Оставь, передам. Так и скажу: от кавалера Балабана.

– Чему улыбаешься, ротный?

– Встретил Дору Осиповну. Шла жаловаться Ихлу-Михлу: у мужчин вшивость, через одного – мандавошки или чесотка. Керосина осталось на каждого по чайной ложке, а чемерицу и полынь никого не заставишь собирать. При том ни одного триппера с гонореей, хотя половые связи так перепутаны, что она не знает, за что хвататься. И это при полном несоблюдении личной гигиены у мужчин.

– А я как раз от командира.

– Ты тоже, Веня, удружил, заварил кашу.

– Да что вы все заладили! Хоть ты толком скажи.

– Я знаю не больше тебя. Москаль хочет тебя забрать на Большую землю, а брат ни в какую. Он ему: это приказ. Но плохо они его знают. «Здесь командую только я». Ты знаешь, как он может сказать.

Еще бы. Как Джон Уэйн в «Дилижансе».

152Но и командир представить не мог, что случится в субботу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Недавно был в штабе – и снова в штаб. Даже в карауле мне нет покоя: только сменился с поста, отбодрствовал свои два часа, только заснул – тащат за сапог с належенных нар, согретых моими боками.

– Балабан, на выход.

Сам начальник караула тащит – значит, что-то срочное.

– В штаб, шашка.

– Зачем?

– Там скажут.

Самая волчья пора – перед рассветом. Ночь звездная, но звезды мне ничего хорошего не говорят, тоже хранят военную тайну. Может, в штабе хоть куревом разживусь.

Каганец трещит. На столе кисет с самосадам, трофейные сигареты и мой любимый «Беломор» ленинградской фабрики Урицкого, будто специально для меня. Интересно, где его раздобыл Ихл-Михл? Из какого такого вещевого довольствия?

– Садись. Вот тебе курево, вот чай. Гис.

Почему-то никогда не говорит «наливай» или «нальвай», только на идише: гис.

– Балабан, тебе боевое задание. Выполнить сможешь?

Что тут ответишь?

– Цесарский в гестапо. Как, почему – оставим на потом. Сейчас не время. Сейчас надо спасать. И есть возможность, мне точно известно. Не знаю почему, но гестапо срочно нужны подробности про твоего парашютиста. Ты, наверное, сам понял, какой шухер поднял. Мне предложили: в обмен на Цесарского тебе зададут вопросы. Ты ответишь и вернешься сюда.

– Откуда?

– Из Ровно.

Под ногтями у меня нехорошо стало.

– Командир, лучше ты сам пристрели меня, как собаку.

– Дурак ты, Балабан. Думаешь, посылаю тебя на смерть? За смертью я бы тебя не послал. Наоборот. Не буду всего в голову твою забивать, но гарантия есть: оба вернетесь в отряд: и ты, и твой друг Цесарский. Гарантия надежная, ни разу не подвела. А нам вот придется перебираться. согласишься ты на приказ или нет, все равно нам здесь оставаться нельзя.

Самогон я, конечно, выпил. Еще сам добавку налил; Ихл-Михл для того и фляжку придвинул. И курево, и зажигалку.

– А что я Иде скажу?

– Я сообщу. Сам-то ты что?

– А шансы есть остаться живым? Ну, хоть наполовину.

– Сто шансов. И ни одного, если я ошибусь.

Дальше боюсь напутать. Провал памяти. Помню: встал, подхожу к двери и вдруг в затылок зловещим голосом: «Балабан, у тебя есть самое большое желание?»

Единственный раз в жизни почувствовал, что значит превратиться в соляной столб: окаменел; даже руку не могу поднять дотронуться до мезузы на косяке. Пустой рукав ватника. Руки нет. Не чувствую. Одно в башке: живым не выберусь. В землянке же еще кто-то сидел: тень на стене, а самого человека не видно. А тут за спину мне встал, в затылок дышит. Помню...

Ладно, Немке, не вспоминай. Ты уцелел.

И снова, как одно и то же кино, когда я вроде забыл ночной разговор про Цесарского и приказ и мы по тревоге перебирались – лучше не вспоминать! – на запасную партизанскую базу, меня снова, опять ночью снял с поста начкараула Шарлат: приказ Ихла-Михла явиться к нему. Куда? Еще гвалт, неразбериха, землянки не вырыли, шалаши не у всех, а меня велят Зюне-охотнику доставить в штаб. И Зюня сопит: то ли он мне проводник (я говорил, что плохо на местности ориентируюсь), то ли конвоир. Повел. Мне показалось, часа три плутали. Уже звездочки стали гаснуть. Добрели до старого штабного блиндажа, где был недавно у нас с командиром разговор.

Снова трещит каганец. Не столько светит, сколько чадит. На столе курево. Зюня в блиндаж не спустился, снаружи остался. Вроде охраны.

Курева много. Чайник, видно, прямо с огня, на совковую лопату без черенка, как на подставку, поставлен. Самогонки на этот раз нет.

– Вот курево. Вот чай. А вот тебе немец. Из...

– Как у вас говорят, из энского гарнизона, – без улыбки и совершенно чисто говорит немец.

На нем черный китель с Железным крестом, золотым партийным значком со свастикой – у н и х этот знак отличия ценился дороже всего: такой партайгеноссе мог обращаться к фюреру лично, Гитлер знал всех золотых значкистов. Очки в тонкой стальной оправе. Смотрит на меня, запоминает. Неприметный, но встретиться с ним я не хотел бы даже с маузером в руке.

– Гис.

Обычно Куличник так предлагает самогон. Но чаю я рад даже больше. Знобит.

А немец чай себе уже заварил, прямо в кружке. Лазебников такой пил, старый зэк, восемнадцать лет лагерей. Рассказывал мне про чай, когда разоблачили культ личности Сталина. А в 43-м он валил лес для фронта, под конвоем. Да ведь и мы под конвоем... вот этих, со свастикой, который, не морщась, гонит чифирь. Но про Лазебникова все равно закончу.

– Если помните, Вениамин Яковлевич, в 1928-м в Москву пригласили композитора Пьера Дегейтера, написавшего «Интернационал». Отметить сразу три события: 80-летие самого старика, 40-летие «Интернационала» и 10-летие, как он стал нашим государственным гимном. Было что праздновать. А я был тогда репортером «Комсомолки», знал французский, и меня прикрепили к Дегейтеру.

Его везде приглашали. И конечно, в общество политкаторжан, к Морозову, тому самому, народовольцу, двадцать пять лет в одиночке. Николай Александрович оказался бодрым стариком. Спрашивает Дегейтера: «То-

варищ Пьер, вам чай покрепче? – Тот показал на доньшко стакана. – А, понял! Жиденский, каким Маркс угощал меня в Лондоне».

Как же близко мы живем друг от друга во времени!

Товарищ Пьер, пока вы пьете чай с каторжанами и слушаете про Маркса с Энгельсом... Муся, подойди ближе, заправь рубашку в штанишки. Это композитор Дегейтер, ему восемьдесят лет, как твоей бабушке. Только он родился не в Бельцах, а в Генте, сын рабочего, и сам рабочий, мебельщик. В 1880 году он написал «Интернационал», но под нотами подписался просто Д. Этим воспользовались правые социалисты, вынудившие брата товарища Пьера – Адольфа – приписать себе музыку пролетарского гимна. Прошло много лет, Адольфа замучила совесть, и он признался, что оклеветал брата.

Маэстро, а это Муся Пинкензон – он родился в 1929-м. В 41-м перешел в пятый класс. Скрипку ему подарили родители. Муся, покажи скрипочку.

Когда началась война, до которой вы, товарищ Пьер, к счастью, не дожили, семья Муси эвакуировалась из Бельц в Усть-Лабинск. Но немцы пришли и туда. Вырыли огромный ров на крутом берегу Кубани и пригнали сюда всех евреев. И какая-то 9-я рота какого-то оберлейтенанта Мюллера изготовилась расстрелять бабушку, маму, папу и Мусю. И еще много-много бабушек, мам, пап, девочек, мальчиков. Нет, Муся уже не был мальчиком, ему исполнилось тринадцать лет. А в тринадцать еврей может жениться, воевать, молиться вместе со взрослыми.

Конечно, в любом возрасте человек может стать героем. Иногда такое получается даже случайно. Но нельзя случайно совершить то, что совершил Муся. Для этого

надо иметь не только музыкальный слух. Кое-что еще. Что? Сейчас вы сами услышите.

Когда солдаты вскинули винтовки и нацелили пулеметы, Муся решительно вышел из окаменевших шеренг (люди были почти мертвые, пуля только ставила печать на свидетельстве о смерти) и попросил офицера разрешить ему сыграть на скрипке.

Офицер удивился. Может быть, вспомнил, как мальчиком в коротких штанишках с крест-накрест лямками слышал от бабушки про Ганса-крысолова из Гамельна. А может, он был меломан и даже ницшеанец по музыкальным пристрастиям. А может, вообще без музыкального слуха. Но его разобрало любопытство: что сыграет еврейский крысеныш?

Он, как дирижер, взмахнул черной перчаткой – и смычок взлетел. Грянули звуки. *Furioso!* Не так ли, маэстро? Неистово, пламенно, разъяренно!

*Вста-вай,
про-кля-тьем
за-клей-мен-ный...*

Евреи затрепетали. Стена Плача каждым камнем своим возопила:

*весь мир
го-лод-ных
и ра-бов!*

А немцы окаменели. О, это не были сентиментальные Гензели и юные Вертеры. Это были убийцы из зон-

деркоманды, из батальона «Нахтигаль» («Соловей»).
Мейстерзингеры смерти.

И они окаменели. А Муся, как Моисей, вел за собой
свой маленький еврейский народ. И народ пел, славил
Всевышнего «Интернационалом».

И если

гром вели-кий

гря-нет

над сво-рой

псов и па-ла-чей...

Маэстро, вы верите? Они спели почти весь марш.
Оставались две последних строки. Но офицер скомандо-
вал: «Feuer!» – «Огонь!»

Так погибли Муся Пинкензон, его семья, усть-лабин-
ские евреи, скрипка. В январе 43-го, на высоком обрыве
реки Кубани.

Но музыку не расстреляешь. Разве не так? Весь XX
век положен на еврейскую музыку. Вслушайтесь!

Сначала – скрипки. Леопольд Ауэр, Иосиф Ахрон,
Ефрем Цимбалист, Адольф Бродский, Йозеф Иоахим,
Эжен Изаи, Бронислав Губерман, Йожеф Сигети, Натан
Мильштейн, Яша Хейфец, Иегуди Менухин, Исаак Стерн,
Мирон Полякин, Арнольд Розе, Давид Ойстрах, Буся
Гольдштейн, Юлиан Ситковецкий, Миша Вайман, Ицхак
Перельман, Миша Эльман, Игорь Безродный, Абрам Ям-
польский, Леонид Коган, Олег Каган, Гидон Кремер, Шло-
мо Минц, Пинхас Цукерман. И Муся Пинкензон. Я настаи-

ваю: он тоже великий скрипач, ведь только великая душа способна воскресить другие души.

И это – только первые скрипки! А другие музыканты, дирижеры, композиторы? Конечно, век еврейской музыки. Век ослепительных открытий, фантастических изобретений, радужных надежд. Но понадобилось всего двенадцать лет гитлеризма, чтобы тысячелетний мир европейского еврейства канул в пучину, как «Титаник», столкнувшийся с глыбой льда.

На борту этого ковчега оказался весь народ, в с е д о о д н о г о: от древнего старца, ребенком говорившего *гутен морген* великому Гете, до младенца, так и не увидевшего свет, хотя еврейское сердечко его уже билось. И для них, как на «Титанике», играли обреченные на смерть – сводный оркестр Аушвица, Трешлинка, Майданека, Дахау, Терезина, Бельзеца, Собибора, Маутхаузена, Равенсбрюка, Хелмно. Тысячи скрипок, альтов, виолончелей, валторн, аккордеонов, флейт, гобоев, тромбонов, саксофонов. Дирижер в деревянных колодках, в полосатой лагерной робе с желтым лоскутом – Ифраль Шехтер. Взмах руки – и в мертвой тишине, где слышен только черно-багровый дым печей, к небу возносятся звуки: *Symphonie in gelb* – «Симфония в желтом», написанная Перси Хайдом в Дахау.

Согласитесь, маэстро...

Веня, остановись!

А немец чай не жиденький пьет. Черный как деготь. От такого зубная эмаль отскочит. И курит не жиденькие

немецкие сигаретки, а черный французский табак горлодер.

Завариваю себе. Нестерпимо хочется взять фашистскую сигарету. Раздирает, как хочется затянуться таким табаком. «Не смей!» – приказываю руке. Она стиснулась в костлявый кулак, ни с места. Молодец! А фашист словно прочел мои мысли. Придвигает пачку, на пачке золотая зажигалка с черной свастикой. Не выдержал я, закурил. И вторую, по партизанской привычке, за ухо.

Пей, Веня, кури! Таким чаем, таким табаком когда-то еще угостишься. Это тебе не брусничный лист, не морковь сушеная, не дубняк, не травничок: хоть кипятком его заваривай, хоть в самокрутку сворачивай. Це витамины, и башку здорово прочищают.

– Ваш командир разрешил мне задать вам несколько вопросов.

Чешет ровно, как по линейке. Интересно, а как он до нас, партизан, добрался? Тоже с парашютом сиганул? Или на машине? Но пока я караулил, ничего подозрительного не слышал.

– Расскажите, пожалуйста, как точно произошел тот случай.

Немец подвигает черную фуражку с черепом и костями. Достает из кармана черный, как у товарища Тамбова, пакет. Ясно, что там. А вот кто там? Достает темно-синюю записную книжку с золотым обрезом, углы закругленные. Швейцарскую авторучку «Монблан». Будет золотым пером записывать все мои ходы. Сам пока не сделал ни одного. Играет в темную. Я – в шашки, он – в очко.

– С начала, пожалуйста.

Пожалуйста. «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий...» У вас лично, штандартенфюрер (вы же званием не ниже Тамбова, может быть, даже повыше), ко мне какие претензии?

Или начать еще раньше? С начала жизни вообще? Или лично моей, Вениамина Балабана?

Жизнь моя началась отвратительно. С погрома. Мы лежим на земляном полу, прячемся от поляков. Они кричат. Наверное, по-польски. А мама шепчет на идише. В Чярнухах ребенок трех лет уже понимал, чувствовал, что он говорит на необыкновенном, может быть, самом понятном, разноцветном и веселом языке – идише. А ведь я с рождения слышал украинскую, белорусскую, польскую, литовскую речь. Это же Чярнухи! До всего близко. Но, по-моему, только украинский сравним с идишем: такой же ядреный, крепкий, добрый, цветистый, по-мужицки здоровый язык, сложенный из крепенькой речной гальки.

Кажется, где-то я уже вспоминал, как начиналась жизнь... Но лучше от этого начало не стало. Как и в дебюте после второго полухода белых ed4 – поражение неотвратимо. Гибельный ход.

Но русские шашки или еврейские шашкес (что, впрочем, одна игра) вас, штандартенфюрер, вряд ли интересуют. Тогда что же? Ну, давайте с самого начала, как это представляют себе евреи: как, когда, при каких обстоятельствах произошел, как вы изящно выразились, т о т с л у ч а й. Извольте.

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была неупорядочена и пуста, и тьма над поверхностью бездны; и Дух Божий носился над поверхностью воды. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет». Но пришли вы, и померк свет, и настала тьма, и настала бездна, куда вы сталкивали евреев: «Erste Kolonne marschiert... Zweite Kolonne marschiert... Dritte Kolonne marschiert...»

«Что общего у света с тьмой?» – спросил коринфянин апостол Павел, подразумевая, что ничего общего нет и быть не может.

Есть, святой апостол! Есть общее у света и тьмы – евреи.

– Еврей, расскажи...

А почему, фашистская сволочь, я должен тебе рассказывать? Я пока еще не в гестапо.

У меня, может, с тем фрицем тоже сплошные вопросы: кто? когда? как? с какой целью?

Кто – это я, партизан Балабан.

Когда – в мае 42-го.

Как – прямой в голову, крюк левой в челюсть и финкой.

С какой целью – самооборона.

А вот ты кто такой? Как дознался про нас и как к нам пробрался? Зачем? Неужели не боялся, что тебя на осине повесят? Значит, уверен в своей безопасности. Почему? Какие такие у тебя заслуги? Ты что, Жюль Верн, что ли? Он хоть «Таинственный остров» написал. Я его у

пани Грасицкой брал читать: вечером брал, наутро возвращал, вечером снова выклянчивал, утром опять отдавал. Три раза подряд прочитал «Таинственный остров». А всего раз сорок. Может, и больше.

Еще не могу понять: получается, что сведения про парашютиста тебе надо добыть даже с риском для жизни. Получается что-то слишком героическое, прямо опера Вагнера «Зигфрид».

А как ты про парашютиста узнал? Он в условное время не вышел на связь? По радиации не отстучал? А как Тамбов про него пронюхал? У нас же нет радиации, никто из наших ему сообщить не мог. Может, это вы друг другу шепнули? Зачем?

Сплошная мистика. Как в усеченной пословице (такие ты, Вениамин Яковлевич, станешь собирать, если доживешь до п о с л е войны): «Чудеса в решете: дыр много, а выйти некуда». Вот именно, сплошные дыры.

Окурок о каблук – и в карман, пригодится. Спасибо за чай, курево.

– Командир, это мне что, допрос?

Ихл-Михл молчит. Толстые губы перегоняют папиросу из угла в угол. Но желваки набычил. Неужели ты можешь приказать мне, еврею, отвечать «съедающему народ мой, как едят хлеб»?

Встаю, смотрю на черные начищенные сапоги эсэсовца, столь дорогие антисемитам всего мира.

Куличник прикуривает новую папиросу от окурка. Целую минуту решает в уме. Приказывает:

– Сядь на место и отвечай.

Понятно. Хотя ничего не понятно. Самая непонятная головоломка за всю жизнь. Но отвечаю ясно и четко.

– Ваш рост?

– 178.

– Вес?

– До войны 68 кило.

– Вам надо усиленное питание, вы истощены.

– У меня маленький желудок.

– Ах, так? Операция?

– Да. Заворот кишок.

– Что есть «завороток»?

– Ileus.

– О, ileus! – он вертит указательными пальцами, как дети с завязанными глазами: вертят-вертят и соединяют кончики указательных пальцев. – Латынь. «Непроходимость кишечника». То же самое «volvulus» – перекручивание кишечной петли с нарушением кровообращения и проходимости кишки. Симптом Щеткина – Блюмберга.

Немец берет чайную ложку, как скальпель.

– Делаем косой разрез в правой подвздошной части. .. Я – хирург. Окончил Дерптский университет, как ваш великий Пирогов. Это очень прискорбно: заворот кишок. Стопроцентный летальный исход, если срочно не сделать операцию. А после оперативного вмешательства смертность 20 – 25 процентов. У меня не было ни одного летального случая.

Он с гордостью смотрит на нас.

Да, чтобы добиться таких показателей, надо стать классным хирургом, а чтобы перекрутить свои собственные кишки, надо быть таким *шлемазлом*, как я: сожрать на спор четыре банки сгущенки.

Не помню: сам я до этого додумался или Куперник из Праги.

1 сентября 1937 года в Москву съехались лучшие молодые шашисты Европы: I турнир на приз КИМа – Коммунистического интернационала молодежи. Многие пробирались нелегально, по липовым документам.

У меня были хорошие шансы. После трех дней – два очка и отложенная партия с чехом Куперником, с моим преимуществом. И вот дурацкий спор, кто съест больше всех сгущенки. Откуда она вообще взялась в буфете клуба «Спартак»? Не помню.

Ночью мне стало плохо. Вызвали «скорую», и меня увезли в приемный покой Склифосовского. Повезло, что мимо проходил Сергей Сергеевич Юдин. С размаха остановился, взял за подбородок и кому-то:

– Вот типичное *facies Hippocratica* [Гиппократово лицо, «маска Гиппократата» (*лат.*): лицо землистое, взгляд тупой, запавшие глаза, заостренный нос, скулы обтянуты, си не вато-бледная кожа, крупные капли холодного пота.

И меня на стол, как свинью.

Юдин после операции навестил меня в палате.

– Балабан, полоскал твои кишки, как прачка. Какой дряни ты нажрался?

– Сгущенки.

– Сколько же надо съесть?

– Четыре банки.

– А я глазам не поверил: как будто корову оперирую. Пришлось всю сигмовидную кишку тебе вырезать и полтора метра тонкого кишечника. Ничего, меньше будешь есть. Я когда полковым врачом служил, у командира полка сын-гимназист съел два фунта грецких орехов. К экзаменам готовился. Но ты еще глупее. Как самочувствие? Подними рубаху.

Никогда не видел таких пальцев даже у скрипачей. Четыре неведомых существа разбежались по животу: мнут, забираются под ребро, под вздох, то столпятся в щепоть, а мизинец отставлен отдельно, как командир, и выслушивает донесения.

– Ординатор, этого героя готовьте к выписке. Амбулаторно долечится. «Несмотря на то, что доктора лечили его, он все-таки выздоровел». Это про Пьера Безухова. Читал «Войну и мир»?

– Нет.

– Напрасно, дружок. Может, поменьше глупостей натворил бы.

Когда через неделю меня выписывали, заотделением положил на тумбочку увесистый пакет: «Тебе от профессора Юдина».

Пока ехал в троллейбусе, распотрошил пакет. Оказалось: девятый том Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. «Война и мир», т. 1, Москва, ОГИЗ, 1937.

А у дедушки «Война и мир» была на идише – «*Велт унд криг*».

А сколько книг было у нас в лесу! Про Тору не говорю. «Евгений Онегин», «Овод», Шолом-Алейхем, Жюль Верн. У Цесарского – «Двадцатилетний опыт» И. П. Павлова, он мечтает стать нейрофизиологом. Но вместо этого оказался в гестапо. Неужели фашист не врет, и Юлия Иосифовича отпустят?

– Сейчас я покажу вам фотографии. Прошу быть очень сосредоточенным.

Тоже пять фоток 6х9, только с зазубренными краями. *Мой* – первый. Но нет ощущения, что здесь он выше остальных.

Немец обкусывает перламутровый ноготь мизинца. Я стыдливо прячу под стол свои ногти.

– Что у вас здесь... – средним пальцем, как резиновым молоточком, штандартенфюрер (или кто он там) постукивает по своему лбу, потом по фотографии, – осталось от *этого* человека?

А что в моей еврейской голове могло остаться? *Копф* – точно голова. Второе не точно: *штайн... кайн... айн...* Не разобрал. Одно знаю – *тот* хотел убить меня. Вы же для того и пришли – истребить всех евреев.

В принципе нерешаемая задача. Как с квадратурой круга. Немцы, у вас же были великие математики, но вы поверили фюреру, а не им. А мы, евреи, не поверили нашим пророкам. Мы не верили, что вы решитесь на такое безумие – истреблять евреев, как крыс. Даже в 1944-м не верили!

После войны я прочитаю, как в маленький чистенький румынский городок Сигет добрался чудом спасшийся из Биркенау кладбищенский сторож. Стучал в двери, кричал: «Я вижу огонь! Они жгут людей в печах, как дрова!» Но ему никто не поверил: что взять с сумасшедшего? И те умники дождались, что их, как баранов, пригнали в Освенцим, и погнали в преисподнюю, и они увидели багровый дым крематория и огонь, а евреи Освенцима им плевали в глаза, расцарапывали им лица: «Сволочи! Неужели вы не знали? Вы не могли не знать! Почему же вы не поверили?»»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Люди, почему вы не поверили горевшим в огне?

Наша соседка, жена зубного техника Шмаля, тоже так думала: «Ну, немцы... Они что, не люди? Культурная нация. У них даже в окопах кровати с простынками. На завтрак шоколад. Откупимся. Или Абраша обменяет меня на немецких пленных».

Абрама Шмаля сожгли в Биркенау. А Сарру, жену его, зарубил топором полицай.

У меня хватило ума поверить. Поэтому я убил того, кто пришел убить меня. Я так и ответил гестаповцу. Что в моей голове осталось? То самое и осталось.

На следующий день водовоз Фарион на фургоне привез женщинам долгожданную *микву*. Сам Ихл-Михл вышел из новой штабной землянки его встречать. Что-то спросил. Фарион кивнул. Командир ему целую пачку махорки. Ого!

– А микву куда сгрузить?

– Сперва покажи, что в микве.

Миква – это для наших женщин, вроде большой бочки для омовения.

Реб Наумчик замучил командира. Все уже знают: кто про что, а ребе – про микву. А ему житья не дает Малка. Он слушается жену, как маму. Попробуй не послушаться, если ее фамилия Лихтенштейн и в ее роду двенадцать поколений раввинов.

– Один раз жена попросила тебя сделать ей уважение: попросить у Куличника микву для женщин. И что? Пулемет достать – это вы можете. Для Доры Большой крепдешин – хоть целый отрез из Лодзи! Я же прошу маленькую миквачку, чтобы еврейке было куда окунуться.

Это я долго рассказываю, а прошла-то всего минута: из Фарионовой кибитки, как в фокусе Кио, медленно выбрался с какой-то стеклянной осторожностью наш партизанский хирург Юлий Иосифович Цесарский. Живой. За ним Берл и Идл, тоже оба живые.

И я заплакал. Я же не выполнил приказ – не поверил гестапо. А Ихл-Михл поверил. Берл с Идлом поверили. Отдали себя в заложники, пока фашист с золотым значком не вернется в Ровно. Ту еще разыграли партию. А я оказался в «сортире». Вот тебе и знаменитый шашист!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ясно, что ничего не ясно.

Да, чуть не забыл... Еще темно-синяя записная книжка, обложка гибкая. Ежедневник на 1942 год. Отпечатано в Дрездене. В конце: гимн Германии («Deutschland, Deutschland "uber alles»), календарь праздников, долгота дня, нацистские ордена, значки, эмблемы. На титульном листе, в верхнем углу фиолетовыми чернилами, старательно, как по чистописанию, прописная «А».

Книжечка была в нагрудном кармане комбинезона *того* парашютиста.

Почему я не сдал ее Куличнику? Чего испугался? Ведь чего-то тогда испугался... Или просто оставил на память? Чтоб самому в ней записывать? Чем? Вспомни, чем дети писали в нашем партизанском хедере: угольками на бересте, мелом из обожженного известняка на закопченной фанере. На всех две ручки, один химический карандаш, огрызки карандашей, простых и цветных. Да и что мне записывать? Вшей, крыс, поносы, сколько собрал орехов и грибов для Иды, сколько раз сбегал к Доре Большой? На какой день придется самый длинный для всех евреев день *Йом Кипур*, когда нельзя есть и пить, когда Всевышний запишет все твои, Вениамин Балабан, грехи за истекший год? Так я без записной книжки знаю: в 42-м году Судный день пришелся на 21 сентября. А Господь обходится без чернил и бумаги.

В общем, не помню. Но что-то заставило скрыть. И никому никогда не показывать. И не ломал я голову, кого же все-таки в тот день я убил. Первый раз за всю жизнь. И, надеюсь, единственный. Знаю одно: кто бы он ни был,

он бы меня точно убил. Мне просто повезло. Не только в тот день. Во все дни войны. Во все годы. Я не разбился. Но одну жизнь точно разбил вдребезги. И ее осколки ни в каких архивах не отыскать. Вот такой пазл.

Пазл-мазл.

Ихл-Михл.

Шашки-башашки.

Стоп! Да никакой тот Тамбов не Тамбов! Ну тот подполковник или кто он по званию. Вспомни: на рукаве гимнастерки широкий уголок, след от двух орденов. В 42-м!

Снова запрашивай архивы. Чем черт не шутит.

Через полгода пришел ответ. Да какой! Пляши, Бабалан! Ей-богу, сплясал бы, но с палкой хожу. Без нее ни шаг. Бамбуковая клюка, самая лучшая. Как будто юный тимуровец или скаут, она бережно ведет меня под руку. Подарок Цесарского мне на 80-летие. «Что тебе привезти из Лондона?» А ведь он даже старше меня на год или два, но гоняет по всему свету. Я не придумал ничего умнее, чем попросить клюку. Вот он и привез самую лучшую во всем Лондоне. Бамбуковая, восемнадцать коленец; три верхних гнуты как раз по моей руке. Легкая, прочная, цвет великолепный, и маленькая овальная табличка, я сперва не разглядел ее, ладонью чувствовал, а не видел, потом в лупу рассмотрел: «Dream of Jakobs» – «Сон Иакова». Может, название фирмы. А может, напоминание прихрамывающему, что записано в Торе: «И хромал он на бедро свое». Он, то есть Иаков, от которого ведут начало двенадцать колен Израиля. Почему хромал? Потому что ночью явился ему Некто, и они боролись до зари, и тот Некто вывихнул Иакову бедро.

Знал – не знал наш основоположник Иаков, с кем он боролся, я так и не понял. А у меня с кем случилась рукопашная? С посланцем кого, чего? Как ни кинь – хорошего ничего, все одно: быть бы Вениамину Балабану убитым. Если б он сам не убил. Вот только кого, неизвестно. И не знаю, кто знает ответ на этот вопрос.

Башашкин знал.

«Башашкин Василий Васильевич, 1908 г. р. Место рождения: Тавда Екатеринбургской губ.

Старший майор НКВД (ничего себе звание! по общевойсковому – комдив, два ромба, генерал-лейтенант, а у СС – группенфюрер). Награды...»

Опухоль простаты мне удаляли в госпитале инвалидов войн. В нашей палате лежал с тем же самым фронтовик, замечательный мужик, еще старше меня, военврач 2 ранга (две шпалы в петлице). Когда прихватило его, он сам добрался до госпиталя и в приемный покой: я с острой болью, мне срочно в урологию. Дежурный врач начинает заполнять длинную бумагу с вопросами: как зовут, где прописан, когда родился, где воевал, какие ранения? А из страдальца уже душа почти вон.

– Доктор, я сам уролог, хирург, чего вы меня пытаете. Мне на операцию! Срочно!..

А тот не слышит. «Боевые награды имеете?» Тут Григорий Бенционович не выдержал:

– До хуя!

Вот и у Башашкина оказалось столько же. Одних орденов Боевого Красного Знамени четыре. Конечно, такое бывает. Но чтоб в шестнадцать лет получить Красного

Знамени за выполнение особого задания, про такое не слышал.

Я и про задание выяснил.

3 августа 1924 года группа советских диверсантов (58 человек) по заданию ОГПУ совершила налет на польский городок Столбцы: уничтожила жандармский пост, захватила тюрьму (уничтожив охрану) и освободила арестованных руководителей ЦК компартии Западной Белоруссии, после чего атаковала казармы пехотного полка, разгромила эскадрон улан и с боем пробилась через границу на нашу сторону; потери – один тяжелораненый.

За участие в этой операции юный диверсант Василий Башашкин получил первую боевую награду.

Наверное, имел ранения. Не заговоренный же он. Веня, ты совсем спятил! Вот же по-русски написано: «Последнее ранение – в голову, 2 мая 1945 г., Берлин. Из ПГ-127 выписан 14 июля 1945 г. В распоряжение в/ч не прибыл».

Три строчки кем-то замазаны. Цензором? Спецхраном? Каким-нибудь особым отделом?

Еще одна тайна войны. Чей-то осколок. Вот уж этот точно значится... значился в кадрах Генштаба РККА – Советской Армии.

А кто же был тот парашютист? Ты-то ведь знал, Башашкин. И куда ты сам подевался? Убили, выкрали, подорвался, сбежал?

Немке, уймись! Доска закончилась, ты ходишь шашкой по пустому столу. С кем ты играешь? Зачем пытаешься приладить что-то к чему-то? Даже в бесконечном

мироздании всегда отыщется такое, что и Всевышний не знает, куда приложить.

А вы все равно дураки, евреи! Никогда не прощу, что вы признали невиновным Демьянюка, выпустили на свободу того, кто ел мой народ, как хлеб. Вы поверили фальшивке КГБ и не поверили еврейской памяти, боли.

Демьянюк *еще* жив. А все свидетели *уже* мертвы. Безусловно, живые вправе требовать адвоката. Но кто защитит мертвых? Кто защитит еврейскую память?

Знаете, умники, какое я придумал соломоново решение?

Демьянюк же не отрицает, что был эсэсовцем (удостоверение СС за номером 1393), его просто откомандировали в концлагерь Собибор для несения службы охранником. Он просто охранял евреев, которых убивали. Так отпустите больного старика, не мучайте, проявите гуманность. Но с одним условием: Демьянюк должен до последнего дня своего, начиная с сегодняшнего, не снимая носить форму СС с черной фуражкой с черепом и костями и черные, до блеска начищенные сапоги (мечта всех антисемитов). И в гроб его пусть положат так, по всей форме, и пусть так, по всей форме, SS-Демьянюк предстанет перед Всевышним.

Все сказал? Выпустил пар? Закуси валидолом.

Руки трясутся. Таблетка валидола закатилась под книжный шкаф. Резко не наклоняйся. Сперва встань на колени. Говорят, нашему послу Бовину в Израиле поставили коленные чашечки из титана, вечные. А у меня пока свои, костяные. Мне не нужны вечные. Лишь бы согнулись, чтоб я мог стать на карачки. А ты медленно, тихо.

Adagio, а не scherzo. Как пошутил Гвидо Адлер: «Еврейское скерцо есть на деле чуть больше, чем адажио».

Боже, неужели я был мальчиком. Учился на скрипке, на пианино, маэстро Ненни нашел у меня вокальные данные...

Достал все-таки, дотянулся до валидола. А рядом с ножкой шкафа что белеется?

Не может быть! Правая рука паяца. Целиком откололась, не кусочками. Неужели весь пазл сошелся?

Бедный паяц, ты теперь цел. Потерпи: смажу плечо и отбитую руку мгновенным клеем. Ты снова весь. Только сердце твое разбито. Как и мое.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Жаркое, желтое, жгучее жидовское солнце!

Веня, ты хотел бы, чтоб всегда было солнце? Нет, меня устраивает, как теперь. Смена дня и ночи. И обязательно звезды.

Еврейские праздники – звездочки, которые зажигает мама.

Когда есть мама.

Я уже говорил про Мамкиных. Старший, Гришутка, умер, отравился поганым грибом. Хотя был весь настороженный, как мина. Настоящий звереныш. Все съедобное знал в лесу, на болоте. Сперва сам попробует, потом кормит Ванюшку и Петьку. Им, когда у нас появились, лет было примерно четыре и пять. Кстати, к новому 44-му году братья все на идише понимали и сами трещали не хуже сорок. Их перестали щипать. А может, Эстерка не давала в обиду.

Один раз я видел, как братьев... еще жив был Гришутка... догнали, прямо в лагере, за скорняжной Хайма Бровастого – она была подальше, чтоб вони поменьше. Людям своей хватало.

У Гришутки уже кровянка из носа. Я все видел, потому что в тот день был дозорным, «марсовым», как пофлотски назвал этот пост Идл Куличник: заберешься на самое высокое дерево с помощью набитых ступенек и всяких веревок, устроишься поудобнее на драном тулупе и оглядывай партизанские дали в половинку двенадцатикратного цейсовского бинокля: высматривай врага, а мо-

жет, зверя подстрелишь – винтовка тут. Чуть что – тревога! Пускай ракеты из ракетницы.

Так что хорошо видел, как наши окружили Мамкиных и приготовились бить. Не по-детски. У кого камень, у кого на кулак намотан ремень. А Эстерка догнала... С дерева даже слышно, как ее сердечко колотится. Лицо плотняное, глазищи как ямы. Даже меня, взрослого, мороз продрал. Не могу передать, что в них было. Но все кулаки разжались, никто Мамкиных в тот раз не тронул.

Как-то я вспомнил тот случай одному человеку. Их с мамой эвакуировали за Урал, в таежную глухомань, где и чужие русские были в диковину.

– Один еврей на всю школу, представляете? Каждый день били, да еще издевались: «Наши бабки воют, а евреи керосином торгуют». Почему керосином? Я-то знал, что это неправда, но что я мог поделать? И все-таки раз не вытерпел, запустил в одного гада чернильницей. Мне пригрозили устроить «темную» после уроков. И вот звонок. Учительница ушла. Дверь захлопнулась, как мышеловка. Свет загасили. Как у меня сердце не разорвалось от страха?! Но никто меня не ударил. Представляете?

Кроме Эстерки, у Мамкиных еще дружок в лагере завелся: Дорин петух. Гребень свой поморозил, но все равно кукарекал. Самый нарядный в отряде. Перо огненное, кораллово-золотистое, как наваристый свекольный борщ; глаз – янтарно-фиолетовый.

А потом появились Бибихины. Последнее пополнение в наличный состав детьми.

Лютовал под Броварами полицаи Биба. Много еврейских семей выследил и своими руками замучил. Много добра получил от немецкой власти: деньгами, скотиной, коврами, сервизами, мебелью. Все из еврейских хоромов. У многих из наших был к нему кровавый счет.

Долго мы охотились за ним. Он дважды уходил, да не просто, а четверых партизан ранил.

Последний раз, казалось, точно выследили, имели надежное донесение: гостует у них сватья из Фастова с пацанами. Биба наладился самогонку гнать. А это такое дело, что без пробы не обойдешься.

Двух цепных псов на себя взял Изя великий охотник. Завыл по-волчьи, они и забились в конуру, нос не казали. Нас четверо было: Изя-охотник, я и два брата Поташники. Вышибли дверь. «Руки вверх!» А не догадались на крышу влезть да в трубу кинуть гранату. А Биба через чердак – в слуховое окно – и прыгнул на Жору Поташника. Зарезал – и деру!

Ефим Поташник хотел спалить хату вместе с Бибихой. «А жгите! А я этих щенят своей рукой, как курей, зарежу!»

Откуда евреи? Опять Биба выследил? Нет, сватья привезла из Фастова. Немцы набили несколько вагонов детьми, вывезли из прифронтной полосы и на станциях меняли детей на продукты: за мальчика – две курицы и десяток яиц. За девочек та тетка не знала. Она семерых пацанов выменяла для своего хозяйства. А двух привезла Бибихе – обменять на ковры и хрусталь.

А ведь Бибиха зарезала бы тех цыплаков. Уже замахнулась кухонным ножом на них, как Авраам на сына своего Исаака.

Спасибо Изе-охотнику! У меня-то язык присох, а колленка ноги (я сидел на лавке с маузером, охранял дверь) сама запрыгала, чуть не выбила оружие из руки.

А Изя так рассудительно ей говорит:

– Богом клянусь: не станем смерти искать для твоего Бибы. Но и он пусть евреям смерти не ищет. Она и без него нас найдет.

Видно, любила Бибиха своего полицаю. Встала перед божницей, перекрестилась. И Изя тоже.

А детишек мы с собой взяли. Лошадь полицаеву запрягли. Убитого Поташника на телегу, и сами на нее.

Вот такое пополнение неожиданно прибыло. Потом в Ровно определили их в детский дом. Потом партизанский генерал Алексей Федорович Федоров помог определить их в суворовцы, в Киевское училище. Ни имен их, ни фамилий не знаю. А Бибиха в глазах так и стоит с тесаком.

Ихл-Михл, Берл, Идл могли убить еврея, когда тот еврей заслуживал смерти. Как Гриню Шлица. Я им не судья. Я – ими спасенный.

Они вывели нас, чярнухинских, и других, примкнувших до нас, из топи, куда нас загнали. Из бездны, огненной печи, газовни, расстрельной ямы. Все слова можно подставить, они все равно теперь ничего не значат. Куличники вывели нас вообще из нелюдей в люди. Каждого из нас Ихл-Михл взял на закорки и перенес как малень-

ких через реку, где нам было с головкой. Через реку крови, чтоб мы ноги не замочили. А на том берегу людей не было. Одни мы, евреи.

Ихл-Михл спас нас.

И спас реб Наумчик, да будет имя его благословенно.

И спас наших детей меламед Рубинов.

И спасла Дора Большая. Она превращала мальчиков в мужчин. Конечно, это вам не *бар-мицва* и все, что положено в таком случае. Но умные мамы потом, после бар-миц вы, сами отводили сыночков к Доре.

Что Дора делала? Раздевалась сама. Раздевала Бенника или Давидку. Брала его руки и гладила его рукой свое женское. И брала рукой его мужское, а оно уже само все понимало.

Мужчины украшали Дору, как елку. У нее одной была своя землянка или шалаш на одну. Даже у Ихла-Михла не было – он зимой и летом жил в штабе.

Про петуха не помню... упоминал уже? Он и будил Дору, и сторожил, а шпоры у него были опасные.

От Доры пахло шиповником и ромашкой, сухими корешками, травой.

Как-то само собой получилось, что на следующую (после визита к Доре) субботу Бенциона или Давида (или обоих сразу) звали в *миньян* на молитву – они же мужчины!

Мудрецы наши вразумляли нас: «Когда десять человек находятся вместе для изучения закона, дух Божий среди них». А как же иначе?

Самую необычную историю, которую я слышал о миньяне, рассказал Виктор Городецкий, который служил в Восточном Берлине молоденьким офицером в авиадивизии:

– Май 48-го. В один прекрасный вечер вызывает меня через порученца заместитель начальника политотдела полковник Гинзбург. Он там же, при политотделе, и жил, им с женой площадь выделили. Заводит меня Гинзбург в комнату, что-то вроде помещения для политзанятий или собраний. В комнате молча кучкуются еще несколько офицеров, в основном из того же политотдела, из штаба дивизии, но не только. Жена Гинзбурга быстренько собрала на стол, выставила бутылку и исчезла. А я пытаюсь сообразить, что же мы отмечаем, по какому поводу собрались. Гинзбург окна зашторил. Капитан Резницкий, тоже политотделец, говорит с облегчением: «Миньян есть. Надеть фуражки!»

Я из «сознательной» семьи и слово это – миньян – последний раз слышал очень давно, в детстве. Конечно, прошиб пот и в глазах, наверное, недоумение отразилось, потому что полковник Гинзбург пояснил: «Создано государство Израиль. Помолимся, евреи!»

Ребе Наумчик и Дора вывели нас из Египта в Израиль.

Понимаю, как смешно читать такое. Что вы нам тут приводите частные примеры? Но иногда слагаемое боль-

ше всей суммы. Это я вам как математик говорю. Кроме того, мы же все состоим из частных, а не из чего-то вообще.

Гитлер тоже вел немцев. Фюрер. F"uhrer. Это по-немецки и есть «вождь, вожатый, путеводитель». Вот он и привел их... в бункер, где ему пригодилась отравка, которой сперва отравили овчарку. Так фюрер излечился от помешательства. А немцы? В смысле народа? Как у них с этим? Выздоровели? Поправились? Не в смысле веса. Лишний вес в старости ни к чему. И лишние вопросы тоже. Но не уносить же их с собой в могилу.

Откуда они берутся, вопросы? С каждым годом все больше. Вроде должно быть наоборот: человек же с годами умнеет. Иначе зачем он живет? Но со мною наоборот. Боюсь, с одиннадцати лет мой ум не порос. Но на один вопрос все-таки, пока жив, хочу услышать вразумительный, ясный, громкий ответ. Не почему немцы убивали евреев. Это их дело. И, разумеется, наше. Вопрос в другом: почему *они* убивали *нас* с радостью?

Спросить Господа не поворачивается язык. Задать такой вопрос – значит осквернить Имя Всевышнего.

Знаю: Гитлер был помешан на евреях. Знаю: вся Европа стала громадной крысоловкой для евреев, нигде не было спасения, даже в самых темных щелях, углах, норах. Действительно, коричневая чума.

Но теперь мне известно и другое. Был приказ Гимmlера: кто не хочет участвовать в казнях евреев, может

отказаться. Были, которые отказывались. Самое строгое наказание, которое им грозило, – отправка на фронт. Никогда никого не расстреливали за то, что отказался стрелять в еврея.

Были каратели, сходявшие с ума от безумия, участниками которого они стали; были стрелявшие в себя, а не в евреев. И была еврейка, каждый день войны благодарившая Всевышнего: «Спасибо, Господи, за то, что *они* не все такие».

И я благодарю тебя, Господи, хотя война давно окончилась: «Спасибо Тебе за то, что *они* не все оказались такие». За то, что в сумасшедшем доме «Deutschland» оставались нормальные люди.

Jedem das Seine. Каждому свое.

Это перевод на немецкий чеканной бронзовой латыни: *suum cuique* (каждому свое). Из кодекса Юстиниана (543 г.), параграф 3, ст. I Римского права: «Justitia est constans et perpetua volundas jus *suum cuique* tribuens» – «Предписания права следующие: честно жить, никого не обижать, воздавать *каждому свое*».

«Jedem das Seine» – эти слова немцы выковали из железа в 1937 году, украсив ими железные ворота преисподней с элегическим названием «Buchenwald» – «Буковый лес». В окрестностях Веймара, где любили прогуливаться Гете и Шиллер.

Гитлер вывернул Германию наизнанку. Это я понимаю. Я и сам прожил жизнь в изнаночной, вывихнутой стране. И в который раз убеждаюсь, что «Пушкин – наше все». Крохотную рецензию на «Историю поэзии» С. П. Шевырева он заканчивает четырьмя словами, в которых

в с е сказано про Россию: «Девиз России: *suum cuique*». Только вот в каком смысле, Александр Сергеевич: в Юстиниановом понимании или в бухенвальдском толковании римского права?

Гитлер Гитлером, а вопрос остается: почему *они* убивали *нас* с такой готовностью, с такой охотой, с такой радостью?

Вот в чем вопрос.

Может, потому что в детстве им читали сказки братьев Гримм?

А родись Адольфик в Одессе... Разве стал бы он фюрером? Ну, не вышел бы в художники. Ну, не принял бы Столярский его научиться на скрипке. Но он стал бы нормальным мальчиком, как другие одесские гитлеры. В Одессе не было гитлеров? Возможно. Но в Астрахани они были точно: старый рослый еврей в лапсердаке, седобородый, и двое его сыновей, таких же рослых евреев, только с черными могучими бородами. Старика несколько раз вызывали в НКВД и советовали сменить фамилию. Он отказался: почему он должен менять фамилию, которую носили его дед и прадед? В декабре 41-го всех астраханских гитлеров арестовали.

Капля никотина убивает лошадь.

Капля антисемитизма убивает человека.

В одной несчастной семье... Почему сразу «несчастной»? А вы сами подумайте: из семи детей, которые там родились, четверо умерли в раннем детстве, один был полным идиотом, один – слабоумным, а один... Тихая, на-

божная, работающая Клара называла его «помешанным», хотя он был ее любимчиком.

Мальчик рос нелюдимым, грустным, обидчивым. Отец много пил и бил детей.

Мама мечтала увидеть сыночка священником. Сколько сил стоило ей упросить принять малыша в приходскую школу бенедиктинцев. Но его скоро исключили: курил в монастырском саду.

Его переводили из школы в школу, везде дразнили, самая обидная дразнилка – «еврей». Любимый предмет – история. А еще он мечтал стать художником. Не получилось. Он все равно надеялся. Во всем себе отказывал, только бы рисовать. Рисунки продавал за гроши, лишь бы поесть. Случалось, ему подавали как нищему.

Но тут началось! Один империалист объявил войну королю; за короля заступился царь. Все передрались.

Юноша рвался в бой, и снова над ним смеялись: куда тебе, даже маршировать не умеешь. А он мечтал стать героем. Он упросил короля послать его на самую великую битву и бросился в бой. Дважды был ранен, получил две награды на грудь (редкий для простого солдата Железный крест I степени за храбрость: взял в плен неприятельского офицера и шестнадцать солдат), был отравлен ипритом, друзья-евреи вынесли его из окопов.

Да, эта марципановая история – про Адольфа Гитлера.

Гитлер хотел, чтобы немецкий народ стал сытым, счастливым, гордым. А кто мешает народу? Евреи. Они высасывают кровь из Германии. Евреи как раса – самые отвратительные твари, хуже крыс и пауков. Но бывают евреи хорошие. Например, Эмиль Морис, учетная карточ-

ка СС № 2, билет НСДАП № 19, стал его другом, шофером, телохранителем, сидел с ним в тюрьме, ему Гитлер начал диктовать «Майн Кампф». Фюрер очень ценил его.

С ума сойти! Два самых первых эсэсовца – мельник и часовщик (к тому же еврей, правда, Гитлер приказал считать Эмиля Мориса немцем. И фельдмаршала Манштейна, и генерал-фельд маршала Мильха, еще кого-то).

Гитлер хотел избавить немецкий народ от страданий и унижений, дать всем работу, хлеб, счастье. Выковать из народа непобедимый меч Зигфрида, сразившего дракона. Volk – Reich – F"uhrer. Один народ – одна империя – один вождь. И один враг – евреи, juden.

Он отменил все заповеди, написав своей рукой новые – заповеди «партайгеноссен»:

«Фюрер всегда прав!»

«Быть национал-социалистом – значит быть во всем примером!»

«Верность и самоотверженность да будут тебе высшей заповедью!»

«Право – это все то, что полезно движению и тем самым Германии, то есть твоему народу!»

Дальнейшее каждому нормальному человеку известно.

Вот «история болезни» Адольфа Гитлера. Все (начиная с матери и кончая охранниками) знали, что фюрер психически неуравновешен. Известная писательница Вики Баум потешалась над «этим сумасшедшим паяцем». Но немцы его обожали. Немки считали его самым красивым мужчиной. Им восхищался весь мир. И было чем!

Оборвыш в серенькой вет ровке, голодный бродяжка, серый и плоский, как вошь, стал фюрером! Самое поразительное: если из Гитлера вычесть ненависть к евреям, рухнул бы гитлеризм, от него просто ничего не осталось бы.

...В громадной пивной шум и гам, Гитлер не может начать речь. Он стреляет из пистолета в потолок – и все замолкают. Он говорит: «Национальная революция свершилась».

Это 9 ноября 1923 года.

Впереди – двадцать лет триумфального марша, и дальше – *volens nolens* – обеспеченное бессмертие во всемирной истории.

Попасть в историю просто. Самый простой путь – злодеяния, не обязательно какие-то такие ужасные, достаточно поджечь храм Артемиды в Эфесе. Не могу понять, как поджечь факелом каменную громадину. Но, видно, какую-то хитрость Герострат придумал.

А Гитлер что изобрел?

Помните сказку «Новое платье короля», где мальчик воскликнул: «А король-то голый!»?

А Гитлер был мальчишкой, который понял: «А народ-то голый». Самое податливое вещество – народ. А самое неподдающееся, самое прочное, победитовое – человек. Придворные историки только тем и заняты, что ткнут новые наряды правителям. Неподкупные ученые заняты тем, что перекраивают историю: шьют и порют, а ниткам горе. Но и те и другие бесстыдно обвешивают ис-

тину, ибо никто, ни один человек не легче и не весомее другого.

Почему Бог сотворил сперва одного человека – Адама? В Талмуде приводится объяснение: «Чтобы научить нас, что тот, кто отнимет одну жизнь, уничтожает целый мир, а кто спасет одну жизнь, спасает целый мир».

Взвешиванье – дело нехитрое, но совсем непростое.

А неуравновешенность – понятие тонкое, тончайшее. Ткется и шьется невидимыми пряжами и закройщиками судьбы из невидимых миру слез, печалей, вздохов, обид.

Если б папаша Алоис не пил, не бил... если бы мальчишки не дразнили... если бы девочки... если бы учителя... если бы... Великое «если бы», недостижимое, как горизонт. Но из всего сумбурно сказанного здесь я строю одно фундаментальное основание:

НЕ ОБИЖАЙТЕ ДЕТЕЙ —

ЭТО САМОЕ СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,

ИБО ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ И УЖАСНЫ.

...но Гитлер родился не в Одессе. Одессе повезло.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сын требует, чтобы я прекратил трепать ему нервы своей писаниной. А почему отец не имеет права писать и вслух читать отрывки сыну? Но он почему-то не может сделать отцу такое одолжение. Я же слышу (хотя все почему-то думают: раз человеку много лет, то он ничего не соображает, не видит, не слышит), как он говорит кому-то по телефону: «Папа неадекватен».

Шимон... Прости, никак не могу привыкнуть, что ты Семен. Покажи мне хоть одного адекватного человека. Это гаечный ключ адекватен гайке.

А моя графомания пусть будет осколками ненаписанного романа. Просто этюды для правой руки. Маэстро Ненни остался бы мной доволен.

– Мальчик, что бы ты ни делал этой рукой, должна получаться музыка, мелодия, звуки. Ты понимаешь?

Маэстро, я все-таки надеюсь закончить свои этюды для правой руки, даже если их никто не прочтет.

Один экземпляр пошлю в Чярнухинский краеведческий музей Ольге Болеславовне Савкиной. Она собирает экспозицию для музея бывшего гетто. Сама, на общественных началах.

Гетто устроили на Старой площади, где был рынок, лавки, мастерские. Нас загнали в склад фуража для уланского полка. А еще раньше (неизвестно, в какой точно средний век) это была *важня* – магистратская весовая, где хранились хлебные и прочие припасы, и громадные весы взвешивать зерно и мясо, и все весы для рыночной

торговли. В сторожке важника (по-старинному – пудовщика), собиравшего пошлину с рыночных торговцев, разместились полицаи. Немцы-пулеметчики со сторожевых вышек жили в казарме, не в гетто. Но гетто устроили уже после расстрела евреев. Оставили только портных, сапожников, скорняков и других мастеров для мастерских, где шили шинели полицаям, теплое белье, сапоги, ремни, упряжь, черные кожаные перчатки эсэсовцам. Одна пара таких у меня долго была. Зимой 41-го пригнали много евреев из других городов, даже из Австрии, Чехии, Бельгии.

Половину гетто весной 42-го расстреляли на берегу Глыбени, где была купальня. Тогда оставшиеся решили рыть подземный ход. Не просто ход. Настоящую штольню с выходом на поверхность земли за колючей проволокой и сторожевыми вышками.

В известном фильме «Покаяние» герой признается НКВД про антисоветский подземный ход Тбилиси – Бомбей. А чярнухинцы задумали прорыть тоннель из Египта в Израиль. Из неволи на волю.

Первым делом выбрали комитет: братья Куличники, инженер Эфраимов (он получил орден Красной Звезды за Днепрогэс) и одноглазый военрук Берман, возглавлявший в нашем городке Осоавиахим. У него пустой глаз закрывала красная революционная повязка, другого цвета он не признавал. Полицаи чуть не расстреляли его за одну только повязку. Так он в знак протеста ходил без повязки, пугая детей. Он отвечал за весь инструмент. А проект составил Эфраимов: в поперечнике тоннель метр на метр, длина 120 метров, с крепежом, вентиляцией, кабелем, освещением, опрокидывающейся грабаркой.

Да, забыл! В комитете еще был полицай Дрыгва, бывший шабес-гой, он даже раздобыл для евреев парабеллум и наган.

От меня проку было мало. Меня замучили фурункулез и дизентерия. Передвигался на костылях. А под землей вкалывали, как на Днепрогэсе, круглые сутки, по-сменно три тоннельных отряда: первый – проходчики и крепежники; второй – «чумаки», кто тянул грабарки за длинные гужи; третий – «грунтовщики», они отвечали за перепрятывание грунта, эти десятки тонн земли где-то же надо было так раскидать, разровнять, схватить на территории гетто, чтоб охрана ничего не заметила.

Охраняли нас полицаи. На вышках с пулеметами – немцы, ими командовал лейтенант. У них была своя столовая, отдельно от полицаев. У полицаев кашеваром был Дрыгва: он получал на всех хлеб, соль, крупу, картошку, колбасу в консерве, шнапс (тоже, между прочим, по норме – 200 грамм на одного, по воскресеньям и праздникам двойная порция). Полицаям полагалось еще жалованье, уж не знаю, какое. А немцам дополнительно: шоколад, масло, кофе, рафинад, марципаны, мармелад, сыр, сгущенка.

А нам пайка – 125 грамм хлеба и миска вареной воды с очистками.

Дедушка вырезал шашки из картофелин: черные – из кожуры, белые – из серединки. А у папы всегда были на такой случай разноцветные пуговицы.

С того дня, когда папа разлиновал лист на шашечницу, расставил разноцветные пуговицы и показал, как ходить, игра стала сутью моей жизни.

Кстати говоря, ввести в память ЭВМ правила игры в шашки оказалось сложнее, чем шахматные. Это объясняется сложностью ударного хода дамки.

Подземный ход и стал нашим проходом в дамки.

Я помогал маме шить мешки из добротных одеял фирмы Туркенича, носить землю.

Место на нарах определили мне на первом ярусе, у окна, за кованой фигурной решеткой. От сырости штукатурка отпала, обнажив старинную кладку. Мне ночами мерещилось: вот явится рука, начертит гвоздем: «Мене, текел, упарсин», как на пиру Валтасара. Пророк Даниил расшифровал таинственные письма последнему вавилонскому царю: твое царство сосчитано, измерено, поделено; и сам ты взвешен и найден легковесным. Дедушка даже точно сосчитал (некоторые мудрецы полагали, что *мене, текел, упарсин* означает вес: *мина, шекель, полмины*) и у него сложилась 927 гр. (610 + 12 + 305). Чуть меньше пачки соли. Так оно и получилось.

Рыли пять месяцев, бежали в июне, ночью, число не помню, но в воскресенье, после субботы, дождь лил. Прожектора на вышках и сирену тревоги Эфраимов обесточил. Я по заданию Берла Куличника составил список всех, кого выводить и в какой очередности: по десяткам. Мы с мамой оказались в восемнадцатой десятке. Тридцать человек отказались бежать. Они все погибли. А двести пятьдесят один спустились в лаз и вышли из египетского плена. Охрана открыла огонь; хотя стреляли в дождь, в темноте, но почти треть беглецов погибла. Разбрелись по лесу. Трех наших застрелили партизаны

(нечаянно или нарочно, не знаю), еще десяток пристали к другим отрядам, больше ста остались с Куличниками.

А спасло нас то, что одноглазый Берман точно вывел на пионерский лагерь, где он до войны вел военную игру.

Единственный, кто не знал про тоннель, был крещеный еврей из Вены, ему не доверяли. Его увезли в Бобруйск и там, говорят, повесили: гестаповцы ему не поверили. Не может быть, чтоб двести пятьдесят один еврей знал и только один не знал! Не может такого быть. Согласен: не может. Но было.

Не знаю, где мы потерялись с мамой. Еще в подземном ходе.

Я полз. Она, как в оглобли, впряглась в мои костыли, тащила, по мне кто-то бежал, впереди обрушилась земля, взорвалась лампочка, все закричали, стали задыхаться, не соображали, в какую сторону рыть... Я, как мокрица, полз по кому-то...

Так и остались в памяти лесные годы: роем, роем, роем. В каком-то безвыходном погребке, копаемся, щиплем траву, разжигаем огонь, хороним, спим вповалку, не раздеваясь, молимся, дышим махоркой. По пальцам пересчитать, сколько раз я за всю войну выстрелил. Сколько раз спал как мужчина с женщиной.

У женщин прекратились менструации. Они не рожали. Были только выкидыши, без всяких аборт. За все время в лагере три младенца родились живыми: два не дожили до обрезания, только один дожил, Бен-Цви – Сын Войска.

А после войны у Иды случилась внематочная беременность. Она чуть не умерла, выжила, но рожать уже не могла. Да мы и не хотели: у нас была Эстерка, потом появился Шимон – сын Бейлы, двоюродной сестры Иды. Он об этом не знает. Из всех живых теперь только я один знаю. Эстерка, может, догадывается, она самая умная во всей нашей семье.

Вот прочтет, что я тут написал, погладит папку по седой голове: «Старенький мой шлемазл». А Семен опять кому-нибудь пожалуется: «Папа неадекватен».

В лесу всегда недосыпаешь. Проще говоря, дремота в пол-гла за, в пол-уха. Много тому причин: враги, холод, голод, сырость, вредные насекомые, постоянно чешешься. Если хочешь проснуться живым, то и во сне научишься различать голоса, шаги, кашли, хрипы. Это кому-то легко сказать «до завтра». А еврею дожить до хотя бы конца сегодня.

А потом, после войны? В смысле, почему я изменял любимой жене?

Самый глупый вопрос, какой только можно задать мужчине.

Надо же задать такой дурацкий вопрос! И хватит! Уже пальцы не слушаются, в голове сместился центр равновесия. Брось свою поганую писанину и марш за селедкой. Какая будет, только чтоб сразу зацепить вилкой и в рот. Не забудь половинку черного.

В такую жару селедка и черный хлеб при твоём холецистите, камнях, одышке? Прочь отговорки! Воланд был прав, заподозрив буфетчика Сокова:

« – Чашу вина? Белое, красное? Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?

– Покорнейше... я не пью...

– Напрасно! Так не прикажете ли партию в кости? Или вы любите другие какие-нибудь игры? Домино, карты?

– Не играю, – уже утомленный, отозвался буфетчик.

– Совсем худо, – заключил хозяин, – что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих».

Браво, Михаил Афанасьевич!

Но я знал другого Сокова. Ваш – Андрей Фокич, а тот был Василий Александрович, основоположник советского шашечного творчества. Он погиб на фронте, в 44-м. Я – единственный живой шашист, который может сказать, что нанес поражение непобедимому Сокову. В шестом туре чемпионата Белоруссии (1939 г.). Я играл белыми. О победе даже не мечтал; вничью бы выстоять. После 25-го хода Василий Александрович сам предложил ничью. Тут мое сердце дало осечку, но я отказался. На 38-м ходу черные сдались. Даже газета «Правда» об этом напечатала.

Я и сегодня играю белыми. И перестаньте шантажировать меня камнями, холециститом, недостаточностью (забыл чего). Китайцы (конечно, древние, а не современ-

ные) считали: «Есть болезни, сохраняющие жизнь. И есть болезни, продлевающие жизнь». Жаль, что они их не перечислили. А может, китайцы знают, но другим не говорят. А сам, Веня, ты как считаешь? В голову приходит только склероз. Он точно удлиняет жизнь, но укорачивает ее смысл. Думай, думай! Ну, если не склероз, так заворот кишок. Как сказал Юдин: «Меньше ешь – дольше живешь».

Но уж коли вопрос поставлен так решительно (не китайцами, а Воландом), то и ответ ребром: в это время дня (и во все дни, во все времена) я решительно предпочитаю белое хлебное вино, как когда-то в любимой моей России называли столь любезную моему еврейскому сердцу водку. Водку ничто заменить не может. Она незаменима. Продукт такой не 61-й по снабженческому реестру на случай войны, а самый первый. И в дни войны, и в дни мира.

Кстати, заметил: давно уже у магазинов не скидываются «по рваному», не троют. А в пятидесятые прохода не давали: «Башашкиным будешь?»

Башашкин играл хавбека, центральный полузащитник ЦДКА. И в знаменитой нашей сборной, которая выиграла золото на Олимпийских играх в Мельбурне (1956 г.), он был третьим номером: 1. Лев Яшин. 2. Борис Тищенко. 3. Анатолий Башашкин... «Золотой» гол югославам тогда забил Анатолий Ильин. Помню репортаж Вадима Синявского, его крик «Го-о-ол!» Как салют Победы!

Вот голос Синявского был для всех праздником. А Левитан, чего бы ни вещал... Хоть из Кремля, хоть с полей, хоть про запуск Гагарина – все получались сводки Совинформбюро. Даже про погоду.

Я часто бывал «третьим». Рубль – не деньги. И пьяным не будешь со стакана. А настроение поднимешь. Иногда интересное трио подбиралось. Один раз на Цветном бульваре разливал академик. Да и первый номер оказался интереснейшим специалистом – басонщиком из мастерских Большого театра; басонщик – это такой хитрый ткач: позументы, галуны, эполеты, золотая канитель. Жалею, что не обменялись телефонами: лучшую тройку уже не составить.

А знаете, я оказался неплохим хавбеком – не пропустил пробить по нашим воротам т о г о с а м о г о, напавшего на нас. На меня-то уж точно.

Нет, третьим был Башашкин, старший майор НКВД. Вторым – тот, неизвестно кто, свалившийся на мою голову. А я, выходит, в том «скинемся на троих» получился номером первым? Выходит. Как ни крути, именно так получается. Никудышный вратарь, но я вытащил мертвый мяч.

Интересно, знал Башашкина Леонид Федорович Райхман? Жаль, я его не спросил, теперь не спросишь. Это ведь он натаскивал начинающего разведчика Николая Кузнецова еще перед войной искусству соблазнять германских дипломатов и прима-балерин. По разработке, будущая легенда советской разведки – красавец-актер, балетоман, завсегдатай «Националя» и «Метрополя», хлыщ. Но не слащавый, а неотразимый, дерзкий, сухой. Агентурная кличка «Пух». Уж не из «Евгения ли Онегина» взято разведческое псевдо?

Толпою нимф окружена,

Стоит Истомина; она,

*Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола.*

Так вот, Эолом (в прямом смысле; куда уж прямее) для «Пуха» мог быть Райхман, зам. начальника Управления контрразведки.

Мы случайно познакомились в подмосковном профилактории: там проводила сборы команда слепых шашистов, которую я тренировал.

Весна, тепло. Обедаем. За столиком я и две милые шашистки, одно место свободно. Подходит мужчина – может, ровесник мне или даже постарше, но язык не поворачивается выговорить «пожилой». Весь какой-то отчеканенный. Так и познакомились: Леонид Федорович Райхман. Ветеран войны. Генерал. На пенсии. Пишет диссертацию по юриспруденции. Его очень заинтересовало, как я тренирую слепых. Я объяснил: мы же играем вслепую, не глядя на доску.

– Вениамин Яковлевич, а что вы делаете после обеда?

– А что надо делать после обеда?

– Гулять в лесу, дышать воздухом.

Дней десять мы так и дышали. Он мне много чего рассказал: был арестован по личному указанию Сталина как агент сионизма и пособник «врачей-вредителей»; после смерти Сталина его восстановили в партийных рядах, наградах, генеральском звании. Через несколько месяцев опять арестовали, уже как пособника Берии. Снова тюрь-

ма. В 57-м освободили. Интересуется космологией. Оттиск одной публикации подарил мне на память: «Диалектика бытия небесных тел». Конечно, я не удержался, спросил, знаком ли он с гипотезой Лапласа об образовании Солнечной системы? Да, знаком. Изучил и лапласовский «Трактат о небесной механике», все пять томов. Тут уж я сел в лужу: трактата не читал. А Райхман читал. Вот тебе и сын ремесленника, и образование получил в двухклассной школе, наверняка в местечке.

Это от Леонида Федоровича я узнал, что сын сестры Гитлера попал в плен под Сталинградом. Сестра кинулась к фюреру, но тот резко ответил: для него все немецкие солдаты равны. А ведь вполне можно было обменять сына Сталина на племянника Гитлера. Да их самих тоже.

А вдруг у фюрера был еще племянник или даже незаконный сынок, и это с ним я стыкнулся в Глубинской пуще?

Не знаю. И уж точно никогда не узнаю. Хотя много лет бился узнать. Ведь должен быть ответ! Лаплас высказал изумительной красоты мысль, которую я назвал «принцип Лапласа» – переменчивость по закону функциональной зависимости: «Ничто не происходит без причины. Эта аксиома имеет универсальное применение. Если бы какой-либо гениальный разум знал все силы, действующие в настоящий момент в природе, и знал взаимосвязь существ, из которой состоит природа, и если бы этот разум мог охватить все это в такой степени, чтобы все эти данные подвергнуть математическому анализу, тогда он смог бы представить в одной формуле движение самых крупных небесных светил и самых маленьких частиц».

В сущности, это то уравнение, которое Всевышний написал на доске Эйнштейну.

Возможно, будущий гений откует такое уравнение, которое как железными лапами якоря соединит механику Ньютона, математику Лобачевского, физику Эйнштейна, космогонию Фридмана – Леметра и объяснит *все всем*. Но я не доживу. Да и не интересно. Все равно что-то в остатке останется, хоть до тысячного знака после запятой высчитывай... все равно, а это ничтожно малая величина может перевесить всю махину. Так уж устроены весы судьбы.

Не будет ни уравнения Балабана, ни формулы Балабана. Останется только «ход Балабана», да и тот неизбежно ведущий к проигрышу, как ни кинь. Что ж, отрицательный результат тоже не всякой голове дается.

Встал. Не резко. Теперь обуться. Низко не нагибаться. Торбочка. Мобильник. Инвалидное удостоверение. Пенсионное. Деньги. Ключи.

А может, не надо? Вот устроишь себе завороток кишок, никакой Юдин тебе не поможет, разбираться в твоих кишках не станет. Подохнешь как собака. Надо же, что выдумал: в такую жару черняшка, селедка, водка! Собаки и те высунули языки от жары. Полно им еды добрые люди принесли, а они и не смотрят. Нам бы *тогда* такую!

Три нищих под козырьком входа в метро. Перегарище! Поджечь, так получится ацетиленовая горелка. У одного глаз заплыл, у второго губы раздуло, у третьего ухо кровяной коркой запеклось. Тянут руки грязней асфальта. А в пяти шагах от них валяются монеты: пять рублей, две двухрублевые, одна рублевая. Не берут. Лень жопу поднять, нагнуться. Надо, чтоб прохожий сам положил рубли в их вонючие руки. А тут в раскисшем асфальте

двенадцать рублей (еще же полтинники, гривенники, копейки) – на буханку дарницкого или бородинского.

В гетто буханка была на восьмерых. И не такого! Выпеченного из гороховой муки пополам с соломой, как во времена фараонов. Сколько жизней спасла бы буханка хлеба, достанься она голодающим.

Выбирал я те монеты, выдирал из горячего асфальта, а слезы кап-кап.

Вспомнил, конечно, письмо Кати Сусаниной из Лиозно отцу-фронтовику: «Стираю белье, мою полы, работаю очень много, а кушаю два раза в день, в корыте с Розой и Кларой. Так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. Я очень боюсь Клару. Она мне раз откусила пальчик, когда я из корыта доставала картошку. И я теперь стараюсь кушать последней, когда покушают Роза и Клара».

Даже московские собаки не смотрят на жареную картошку, колбасу, недоеденный гамбургер, как попрошайки-ханы ги не смотрят на потерянные монеты.

Да они же пить хотят. Эти-то из чужих бутылок-банок насливали себе пива. А собаке кто поднесет? Пушкин?

Купил я двухлитровую воду без газа. Достал из урны пластмассовую миску. О, как залакали! Миску за миской, пока всю воду не выпили.

Одна сука осторожно подошла ко мне, посмотрела в глаза, руку лизнула. Другая посмотрела на нее, тоже подошла и ладонь лизнула. И другие собаки подошли сказать спасибо.

Эх, люди, люди!

Так и шел от магазина до дома, носом хлюпал. Чуть башку не разбил, когда споткнулся в подъезде.

Пока собак поил, пока дошел, водка согрелась. Ничего, полстакана в такую жару самый раз. Селедка весовая, подкопченная, большими кусками. Хлеб... Хорошо, дети мои не видят. А Идочка и Сашулька не осудили бы деда, подумали бы, игра такая: дед пьет, морщится, крикает, нюхает черный хлеб, как собачка.

Я бы по такому случаю и сала купил. Но как вспомнил немецких свиней Клару и Розу... Кто-то сказал: немец состоит из костей, мяса и дисциплины. Верно, да не совсем. Уточню: немец состоит из дисциплины, костей, свинины. И вообще он составленный.

Вдруг вспомнил такой же жаркий день. Может, самый радостный за всю войну. Партизанский футбол: мы, рота снабжения и охраны, против разведчиков Идла, шесть на шесть. На гребле, в самую парню! Что на нас нашло, откуда мяч взялся, не помню. Новенький, желтая свиньячья кожа, надували все. А мальчишки гоняли тряпичный, в траве. У них уже счет открыт, а мы все решаем: один тайм играть, но настоящий, или два по тридцать минут? Кому достанутся какие ворота (солнце же!)? Угловые сразу подавать или три корнера – пенальти? Капитаны – Берл и Идл. Я на воротах. Штанги – две березовые жерди.

После первого же удара по моим воротам (к счастью, мимо) мяч улетел за греблю. Зову пацанов сбегать, они ничего не слышат, за тряпкой гоняются, как собачонки. А мяч кувшинкой желтеет и медленно-медленно погружается в коричнево-зеленую жижу. Бегу. Проваливаюсь. Выдираю босые ноги из хваткой засоски. Мяч

близко. Ложусь плашмя. Осторожно подвожу под мяч ладони, а он вдруг тяжелее снаряда, не подниму, и – если сейчас не выпущу из рук – сам вместе с ним булькнувшись. Еле выполз на греблю. Мокрый, грязный, наши хохочут. Почему-то все в тот день как дураки смеялись. Обсыхать некогда – игра! Отняли у пацанов тряпичный мяч. Он далеко не летит, но вратарю все равно работа.

На последних минутах (часы у Ихла-Михла, он судит) назначен нам пендель: Идл отбил мяч рукой, вместо меня спас ворота. Ихл-Михл отмерил одиннадцать шагов; нормальных, не спорю. А счет 2:2. Так что момент решающий, и все теперь зависит от меня. Обе команды вповалку, сил не осталось.

Мяч обвязали в чистую портянку – сам Берл, чтоб ему удобнее было бить одиннадцатиметровый. Бить он умеет что рукой, что ногой, это мы знаем. Ну, Немке! Натянул я кепку на глаза, и внутри у меня все натянулось.

Берл коротко разбегаются, тоже босой, бьет подъемом в нижний правый угол, впритирку со штангой. Вижу, словно во сне, медленное вращение тряпичного клубка и свой прыжок в нижний правый угол – невероятный по длине и красоте полет. Я спас команду.

Наверное, это был самый счастливый день за всю войну. Единственный раз я почувствовал себя героем. Ведь мы же не воевали. Мы просто спасались.

Читающий эти слова, ты мне не веришь? Не может быть, чтобы свое девяностолетие гроссмейстер В. Балабан отмечал в одиночестве. Где сын и дочь, внучки, родственники, друзья, представители Федерации шашек?

Но в такую рань не поздравляют. Еще даже не утро. Еще только настанет утро. А пока только – да, да! – *и звезда с звездой говорит*. И пусть так именно будет, даже когда меня среди вас не будет.

Я прожил счастливую жизнь. Я играл в честную игру.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Всякой жизни предшествует долгая-долгая, бесконечная история. А моя история, быть может, станет началом чьей-нибудь жизни. Кто знает?

Всю жизнь я смотрел в зеркало, а думал: это окно. Теперь зеркало раз-би-лось. Но я не разбился. Даже держу граненый стакан. Но что толку, если стакан пустой. *Гис, Немке, гис!* И спой любимую песенку третьей роты. Ида не скажет: «Веня, я вас умоляю!» Только не упади со стула. Прочихайся, прокашляйся. И – раз! – «с любовью – и до седла!», по присловью старого казака Меньяйло, торговавшего на пристани в Чярнухах самогоном и самосадом. Для духовитости, мягкости примешивал дед Киприан в свою продукцию сухие желтые цветочки буркуна. «Пан не желает травничка?» И не поймешь, что тебе предлагается: курево или горилка. Я то и другое брал, и ничего лучше того травничка не пил, не курил. Добрый был казак! И сыны были добрыми. Только младший Меньяйло оказался поганим.

К черту всякую погань! Снова, и – раз! – как тогда, после футбола. Идл играл на расческе, ты свистел на травинке (я – на травинке?!), Дрыгва заложил кольцом пальцы в рот по-разбойничьи, мальчишки несли по очереди наш партизанский мяч, как тряпичного поросенка, и тоже горланили:

Идл мит ден фидл,

Берл мит ден бас.

Шпильт мир а лидл

Ин митн дер гас[Идл со скрипкой, / Берл с контрабасом. / Сыграйте мне песенку/ Посреди улицы (идиш).].

Интересно, почему старики такие сердитые, капризные и обидчивые? Я не за себя спрашиваю. В этом смысле я спокоен; чувствую: жизнь покидает насиженное место, и смешно обижаться на самого себя. Тем более в день рожденья. Чокнемся, фарфоровый паяц. Выпьем за.. . только не за то, что мне стукнуло девяносто. Выпьем за то, что мне когда-то был всего один год. Он был золотым, как солнце. Помню, мы лежим в доме, на полу. А поляки обложили дом соломой, облили керосином и подожгли. И все равно жизнь начиналась замечательно.

И последнее.

Тот парашютист... Или не знаю кто... может, родственник Сталина, или племянник Гитлера, или наш разведчик Николай Кузнецов, переодетый в обер-лейтенанта Зиберта, или настоящий Пауль Зиберт, а может, английский диверсант, польский, хоть какой... закричал «*кайн*». *Kein*.

Я и Цесарского спросил, есть такое слово? Есть, но должно быть продолжение. А так бессмыслица: «никто, ни один, никакой». И после войны спрашивал. То же самое говорили: что-то оборвано.

Конечно, оборвано. Жизнь. А смысл в крике был! Просто до меня только сейчас дошло: *Kein* – это не *кайн*, а *Kain*, имя того, кто его убил. Вот что кричал тот фашист.

А фиолетовое «А» в верхнем углу офицерской книжки – инициал его имени, скорее всего – Abel. Авель. Выходит, я Каин? А он, выходит, Авель! Но почему? По какому праву? Так говорил Заратустра? Так ему приказал Гитлер? По какому такому большому счету, что даже мне, математику не понять?

Ты, старик, спятил. Счет здесь ни при чем. Счет здесь не действует. Цифры отменены. Разум сожжен в крематории. Судью – на мыло? Неужели так трудно понять. Война.

Просто война.

2009 – 2010